

КАРАМЗИН
ДМИТРИЕВ

КАРАМЗИН
ДМИТРИЕВ

Ⓒ

БИБЛИОТЕКА ПОЭТА

основана
М. ГОРЬКИМ

МАЛАЯ СЕРИЯ
ИЗДАНИЕ ТРЕТЬЕ

ленинград

л е н и н г р а д

1 9 5 8

Н.М. КАРАМЗИН
—
И.И. ДМИТРИЕВ

СТИХОТВОРЕНИЯ

т т т т т

советский
писатель

*Вступительная статья,
подготовка текста и примечания
А. Я. Кучерова*

Н. М. КАРАМЗИН и И. И. ДМИТРИЕВ

Карамзин и Дмитриев, с молодости связанные тесной дружбой, пришли в литературу в начале 90-х годов XVIII столетия.

Освободительная война за независимость в Америке (1776—1783), революция во Франции (1789) напоминали о пугачевском движении, оставившем глубокий след в сознании русского дворянства. В 90-х годах стало ясно со всей очевидностью, что «либерализм» Екатерины II не пошел дальше ни к чему не обязывавшей переписки с Вольтером и Дидро и робких шагов в области просвещения, не затронувших крестьянства. Девяностые годы стали годами реакции, когда правительство последовательно пыталось задушить все, что хотя бы в какой-то мере могло содействовать развитию освободительных идей. Радищев — вершина революционной мысли, рожденной крестьянским движением, — был сослан осенью 1790 года в Илимский острог, и «Путешествие из Петербурга в Москву» на долгие годы стало запретной книгой. Просветительская деятельность Новикова была признана опасной для самодержавия, а сам Новиков в 1792 году заключен в Шлиссельбургскую крепость. В том

же году разгрому подверглась и «Типографская компания» молодого Крылова за подозрительные статьи в журнале «Зритель». Последняя трагедия Княжнина «Вадим Новгородский», изданная в 1793 году, через два года после смерти автора, вызвала гнев Екатерины и, как «наполненная дерзкими и зловредными против законной самодержавной власти выражениями», по решению сената была сожжена. Знаком времени стала боязнь революций, а в России — крестьянского восстания.

В эти годы русский классицизм, воплощавший идеи просвещенной монархии, служения государству, постепенно перестал выражать идеалы той части русского дворянства, которая по тем или иным причинам отдалялась от двора, его вкусов и взглядов на жизнь, хотя и не стремилась к политическим и социальным переменам и отнюдь не представляла сил русского просветительства. Этот дворянский круг мечтал о покое, наслаждении достигнутым, об известной независимости от власти. В этом кругу увлекались масонством, квиетизмом, корили безбожного Вольтера; к этому кругу примыкали представители былой фрондирующей аристократии, потерявшие вкус к активной борьбе и политике; в нем сказывалось влияние модной в те времена буржуазной морали, заменившей честь честностью, любовь к воинским подвигам — любовью к скромной жизни в сельском уединении; у принадлежавших к этому кругу вызывала слезы мещанская драма, драма Коцебу.

В этом кругу искали новый путь, который позволил бы в годы бурь и революций примирить острейшие общественные противоречия, найти из них хотя бы умозрительный выход, воспеть не службу и служение, а прелести усадебной жизни; найти успокоение в своем личном, частном, пусть ограниченном, но еще не исследованном мире — мире природы и душевных переживаний человека. На этой почве возник русский карамзинский сентиментализм.

Общеввропейский сентиментализм был явлением неизмеримо более широким. Его крайние полюсы по существу оказались враждебны друг другу и отражали один — активную проповедь буржуазных идей, другой — политически пассивное, отчасти созерцательное и вместе с тем богатое открытиями проникновение в психологию человека и его внутренний мир. Направление в целом развивалось на основе антифеодальной, антиабсолютистской идеологии, на основе новых представлений о человеке, о правах человека, выдвинутых в политической борьбе третьего сословия, — особенно во Франции.

Новое, сентиментальное направление — ступень на пути к романтизму — оказало огромное влияние на все области культуры. Оно привело к развитию идеи о самобытности национальных культур, чуждой эпохе классицизма, и послужило поискам и увлечению национальным фольклором во всех европейских странах. Так, в Англии появляется сентиментально-романтический эпос Оссиана, собранный и пересказанный Макферсо-

ном, в Германии несколько позже братья Гримм собирают и обрабатывают свои народные сказки, в России в 1800 году А. И. Мусин-Пушкин публикует «Слово о полку Игореве», в котором, по его мнению, «виден дух Оссианов».

В английском романе с особенной отчетливостью побеждает сентиментально-буржуазное направление. Оно несет с собой известный демократизм, требует равенства сословий, с ним связан и роман Ричардсона, положивший начало буржуазно-семейному и бытовому роману, давшему в «Клариссе Гарлоу» образ Ловеласа, распутного аристократа, имя которого стало нарицательным. Сентиментальность характерна и для Гольдсмита, изобразившего вексфильдского викария, притесняемого богатым помещиком.

В Германии мы видим черты сентиментального направления в лирике, прозе и драме «Бури и натиска».

Политически наиболее радикальным был сентиментализм во Франции, представленный главным образом Жан-Жаком Руссо, учителем чувствительной жизни, сторонником новой, прогрессивной в то время морали третьего сословия, чья буржуазная ограниченность еще не была ясна. «Общественный договор» Руссо стал знаменем Франции Робеспьера.

Имя новому направлению дал Лоренс Стерн своим «Сентиментальным путешествием» (1768). Он говорил о нем: «Мое «Путешествие» — это спокойное путешествие сердца к природе и к таким ощущениям, которые проистекают из нее».

Стерн открыл пути к тончайшему психологическому анализу душевных движений и самых повседневных поступков человека. Ключом к этому открытию было новое, «сентиментальное» отношение к жизни, окрашенное иронией, которая потом зазвучала у Гейне, преобразившись в романтический юмор. Проза Стерна явилась первой страницей в истории европейского психологического романа.

Десятки «путешествий» вышли в свет после «Сентиментального путешествия», в той или иной мере обязанные ему рождением, и среди них были «Письма русского путешественника» Карамзина.

В России общеевропейский радикальный, революционный сентиментализм сказывается у просветителей. Он присутствует и в творчестве Радищева, в «Дневнике одной недели» в «Путешествии из Петербурга в Москву». Само решение написать книгу в жанре путешествия от первого лица диктовалось опытом нового направления. Радищев не отказывался от обязательного для сентименталиста отношения к жизни — чувствительности. Это слово мы находим на первой странице «Путешествия» рядом со словом «сострадание»: «Воспрянул я от уныния моего, в которое повергли меня чувствительность и сострадание...» Однако, поддавшись силе и обаянию нового общеевропейского течения, Радищев идет своим путем. Его политические взгляды, движимые «состраданием» к бедствиям крестьян, к бедствиям народным, значительно шире буржу-

азно-ограниченных политических идей даже радикального сентиментализма. «Чувствительность» Радищева — явная антитеза чувствительности Карамзина, который стал в России главой сентиментального направления, получившего здесь в силу конкретных исторических условий не буржуазный, а главным образом дворянский характер.

1

Николай Михайлович Карамзин родился в 1766 году в Симбирской губернии в небольшом имении отца, в сельце Михайловке-Преображенском, откуда осенью 1773 года крестьяне ездили в стан Пугачева и привезли «возмутительные воззвания». Один из этих крестьян — Карп Колесников — был осужден по пугачевскому делу.

Уже с детства в сознании писателя возникает представление о зависимости судеб дворянства от крестьянской революционной стихии. В неоконченной автобиографической повести «Рыцарь нашего времени» Карамзин рассказал о «братском дворянском обществе» — кружке провинциальных помещиков, к которому, видимо, принадлежал и его отец. В повести приведен и договор этого общества: все его участники обязуются «наблюдать общую пользу дворянства». Характерно, что Карамзин сохранил в памяти среди воспоминаний детства и это общество и его договор.

Первоначальное образование Карамзин получил в Москве в пансионе профессора Шадена, сторонника религиозно-морального воспитания в

духе немецкого писателя Христиана Геллерта, о котором Гете говорил, что «его произведения положили основу моральной культуры в Германии». В творческом наследии Геллерта отразилось влияние рационалистической философии Вольфа и немецкого сентиментализма. В пансионе Шадена, пожалуй, и закончилось юношеское образование Карамзина.

Записанный по дворянской традиции с детства в Преображенский гвардейский полк, он семнадцати лет явился в Петербург для прохождения воинской службы. Здесь завязалась его дружба с Иваном Ивановичем Дмитриевым, симбирским соседом, родственником и будущим соратником в литературе.

После смерти отца Карамзин ушел в отставку и занялся расстроенными делами своего имения. В 1784 году масон И. П. Тургенев, директор Московского университета, встретил в Симбирске Карамзина и убедил его переехать в Москву и заняться литературой.

В Москве Тургенев ввел Карамзина в «Дружеское ученое общество», созданное Новиковым для воспитания будущих учителей и переводчиков. Здесь Карамзин провел четыре года, усердно занимаясь переводами для журнала Новикова и Петрова «Детское чтение для сердца и разума».

В эти годы Карамзина увлекала поэзия и эстетика ранних русских сентименталистов — М. Н. Муравьева и отчасти М. М. Хераскова. У них он находил близкие мысли и настроения. Еще больше его увлекла идейная атмосфера «Дружеско-

го ученого общества». В Обществе скрещивались просветительское влияние Новикова и религиозно-мистическое — масона Шварца. Карамзин, несомненно, испытал на себе оба влияния. Тогда уже, в середине 80-х годов, в Обществе расцветали настроения, характерные для перехода дворянства с идейных позиций классицизма на позиции сентиментализма. Карамзин появился в нем летом 1785 года. Он жил в одной комнате с переводчиком А. А. Петровым и в одном доме с масоном А. М. Кутузовым до отъезда последнего весной 1787 года в Берлин по делам масонского ордена. Кутузов принадлежал к образованному русскому дворянству, враждебному потемкинскому духу управления, но настроенному в высшей степени пассивно, искавшему успокоения и мира в масонстве и мистицизме. Он был другом Радищева в Пажеском корпусе и в годы учения в Лейпцигском университете, хотя и решительно расходился с ним во взглядах. И все же именно ему посвящено «Путешествие из Петербурга в Москву».

Карамзин был моложе Кутузова на семнадцать лет и, естественно, прислушивался к его мнению. В это время Карамзина привлекал философский и особенно литературный дух нарождавшегося нового, сентиментального направления, и не удивительно, что книга английского сентименталиста Э. Юнга «Плач, или Нощные мысли» в переводе Кутузова обратила на себя внимание Карамзина. Он упоминает Юнга в своем поэтическом манифесте 1787 года — стихотворении «Поэзия»:

О Йонг, несчастных друг, несчастных утешитель!
Ты бальзам в сердце льешь, сушишь источник
слез
И, с смертью друга, дружишь ты нас и с жизнью!

В «Письмах русского путешественника» мы снова встречаемся с упоминаниями о Юнге. Увлечение Юнгом, его «кладбищенской поэзией» характерно для масонских кругов. Характерно оно и для Карамзина.

Такой же большой интерес представляла для Карамзина религиозная поэма «Мессиада» немецкого поэта Клопштока, пытавшегося оживить национальные народные начала в немецкой культуре и поэзии, приветствовавшего французскую революцию и сразу же испуганно отвернувшегося от нее, как и многие либералы его времени. Кутузов перевел «Мессиаду» прозой в эти же годы.

Элементы эстетики чувства Карамзин нашел в статье самого Кутузова «О приятности грусти», помещенной в «Московском ежемесячном издании» в 1781 году. Статья могла родиться только при склонности к философскому самоанализу, столь характерному для сентиментального направления. В ней раскрыт знаменитый потом по Карамзину культ меланхолии.

Несомненно влияние на Карамзина участника «Дружеского общества», переводчика и журналиста, рано умершего А. А. Петрова. Карамзин ценил его очень высоко. О нем он написал лирический монолог «Цветок на гроб моего Агатона» (1793), его он изобразил в образе Леонида

в статье «Чувствительный и холодный» (1803). С именем Петрова связан культ дружбы, начало которому в русской сентиментальной литературе положил Карамзин. Петров был ближе к практической издательской деятельности Новикова, особенно как редактор журнала «Детское чтение», и дальше стоял от мистических настроений кружка, хотя он и перевел в 1783 году с немецкого кабалистическую повесть «Хризомандер», а через два года книгу «О древних мистериях, или таинствах».

В связи с переводом Карамзиным «Юлия Цезаря» Петров писал своему молодому другу в 1787 году: «Говорят, что Шекспир был величайший génie,¹ но я не знаю, для чего его трагедии не так мне нравятся, как «Эмилия Галотти». И, словно послушавшись совета Петрова, Карамзин в следующем году выпустил в свет перевод «Эмилии Галотти» Лессинга. Петров учил Карамзина наслаждаться «натурой», сельской жизнью, то есть тому, в чем Карамзин вскоре стал признанным учителем сентименталистов. Замечания Петрова по этому поводу очень любопытны. Вот что он писал: «Я надеялся, что нынешняя поездка твоя в деревню истребит в тебе старое, закоренелое предрассуждение против деревенской жизни... Но теперь вижу, что надежда моя была неосновательна. Не хочу доказывать тебе несправедливости твоего равнодушия к приятностям сельским; ибо сия материя давно уже часто и

1 Гений.

пространно была нами трактована как в присутствии, так и в отсутствии А. И. <Ал. Ив. Дмитриева>, президента «селозащитительного» общества. Позволь только спросить у тебя, как может находить вкус в беллетрах, в искусственном подражании прекрасной Натуре тот, кто в самом оригинале не находит приятностей. . .»

Следует упомянуть и о переводчице А. И. Дмитриеве (1759—1794), брате поэта Дмитриева; с ним Карамзин был также в дружеских отношениях. Переводческая деятельность А. И. Дмитриева развивалась в русле раннего сентиментализма. В 1788 году он выпустил перевод «Поэм древних бардов», по которому Державин познакомился с Оссианом. Оссиан занимает видное место и в юношеском поэтическом манифесте Карамзина «Поэзия».

Таковы были литературные связи молодого Карамзина, взгляды и настроения, с которыми он столкнулся в кругу «Дружеского общества». Вскоре из ученика Карамзин стал учителем своих учителей. Уже в 1792 году Петров, еще совсем недавно поучавший своего друга, восхищается «Бедной Лизой». В произведениях 90-х годов у поэтов старшего поколения — Муравьева, Капниста, Львова легко обнаружить влияние карамзинского языка. Только с утверждением «карамзинизма» проповедь «жизни сердцем» явилась наиболее ярким выражением нового идеала русских сентименталистов.

Карамзин шел по пути Хераскова и Муравьева,

Кутузова и Петрова — ранних русских сентименталистов.

Однако в кругу «Дружеского общества» Карамзин нашел для себя еще и другой пример, другой идеал, и этим идеалом, несомненно, был Новиков. История, к сожалению, сохранила нам не много свидетельств об их взаимоотношениях. После ареста Новикова Карамзин оказался, пожалуй, единственным, кто выступил на его защиту, хотя и в завуалированной форме (в оде «К Милости»). Известно, что Новиков после освобождения обратился за помощью к Карамзину, и тот хлопотал о нем, а после смерти Новикова составил в 1818 году записку на имя Александра I с ходатайством о детях покойного публициста. Из всего масонского круга Карамзин сохранил искреннее уважение в особенности к просветителю Новикову, и это, конечно, не случайно.

В литературных интересах Карамзина с первых его шагов обнаруживается стремление к широкой журнальной и издательской деятельности. И хотя по задачам и издательскому размаху она несравнима с деятельностью Новикова, но и Карамзин озабочен книгопечатанием в России, озабочен влиянием книги на читателя, и в этом, несомненно, сказалось общение с Новиковым и его «Типографической компанией». Следует вспомнить статьи Карамзина «О книжной торговле и любви ко чтению в России» (1802), «Отчего в России мало авторских талантов» (1803). В них выражена патриотическая забота о распространении образования и просвещения. «Письма рус-

ского путешественника» давали для своего времени обширный познавательный материал, и в этом также была забота о просвещении. Поставив перед собой задачу создать историю Российского государства, Карамзин отвечал на насущную потребность времени, и именно поэтому, несмотря на лежавшую в основе «Истории» консервативную концепцию, она сыграла в первой половине XIX века очень большую роль как источник обширнейших сведений о России.

Пример Новикова-издателя — вот что наложило печать на литературную деятельность Карамзина. Глава школы русского дворянского сентиментализма, Карамзин вместе с тем был сторонником просвещения народа. Сохранилось свидетельство издателя и журналиста К. С. Сербиновича в его подневных записках о последних годах жизни Карамзина, относящееся к интересующему нас вопросу: «Приехал и Александр Семенович Шишков. Был маленький, но довольно хладнокровный спор о распространении грамотности в народе. Известно мнение Александра Семеновича, что обучать весь народ грамоте более вредно. Николай Михайлович (Карамзин. — А. К.) утверждал противное и говорил, что, проезжая (за тридцать лет перед тем) чужие земли, он видел поселян, занимающихся чтением книг и в то же время не пренебрегающих своим делом и довольных своим состоянием; что просвещение везде смягчает нравы и искореняет преступления».

Позиция Карамзина по вопросу о народном

образовании помогает объяснить недоверие к нему представителей екатерининской и павловской реакции и доносы на него как на якобинца. Однако, продолжая в области образования и книгопечатания новиковские традиции, Карамзин оставался в лагере сторонников дворянского сентиментализма. Весь круг вопросов о просвещении, литературной профессии и философии сентиментального дворянского направления был прежде всего связан с «Дружеским обществом».

Важнейшим периодом в жизни Карамзина явились месяцы, проведенные в путешествии за границей с 18 мая 1789 года по сентябрь 1790 года. По возвращении на родину Карамзин, разойдясь с масонским кругом, начал издавать «Московский журнал».

Это были годы начала революции во Франции, взволновавшие и поразившие молодого писателя. Подобно призраку крестьянской войны, французская революция наложила печать на взгляды и на литературные устремления Карамзина. Хорошо осведомленный в политических идеях своего времени, он не мог пройти мимо республиканских взглядов на устройство государства, они его, несомненно, интересовали, о чем говорят краткие сообщения в «Московском журнале» о книгах, либо рассказывающих о революции, либо революционных. Об «Утопии» Томаса Мора Карамзин поместил в «Московском журнале» довольно подробную статью, где сравнил ее с республикой

Платона. Платонова республика привлекала внимание не только Карамзина. О ней толковали в кружке Хераскова.

Маркс в XII главе I тома «Капитала» назвал аристократическую республику Платона афинской идеализацией «египетского кастового строя». ¹ И характерно, что именно утопия Платона, по которой должны были господствовать аристократы-философы, из всех утопий особенно привлекала сентименталистов.

В «Письмах русского путешественника» Карамзин доброжелательно отзывался о швейцарской республике, об английской конституционной системе. Совершенно очевидно, что в рукописи «Писем...», не дошедшей до нас, было куда больше страниц, посвященных революции. Если сравнить последовательно издания «Писем...», подготовлявшиеся к печати самим автором, видно, как гасится эта тема, сгущаются отрицательные оценки. Сведенная к минимуму, вероятно, еще в рукописи, она почти исчезает: Карамзину очень трудно писать о революции. Мешала и цензура, в эти годы ограничивавшая известия о событиях во Франции в печати. Французская революция, которая «смела весь отживший сор давно минувших веков и очистила, таким образом, общественную почву от последних помех для сооружения здания современного государства», ² оттолкнула, ис-

¹ К. Маркс и Ф. Энгельс. Сочинения, 1937 г. XVII, стр. 405.

² Карл Маркс. Избранные произведения в двух томах, 1933, т. II, стр. 386.

пугала, возмутила Карамзина. Если республиканские теории и утопии, такие, как утопия Платона, недавно вызывали некоторый интерес, то республиканская практика, наступление третьего сословия в Европе порождали разочарование.

Примерно с 1793 года многие мысли в лирике и прозе Карамзина отражали эти настроения. Иногда они обнаруживались в неожиданных примечаниях. Так, к стихотворению «Песнь божеству» Карамзин написал следующее примечание: «Сочиненная на тот случай, как безумец Дюмон сказал во французском Конвенте: *нет бога!*» Не будь примечания, стихотворение воспринималось бы как лирическое размышление о божестве и природе. Примечание превращает его в полемическое выступление против члена Конвента Дюмона.

В «Послании к Дмитриеву» (1794) Карамзин сокрушенно писал:

Теперь иной я вижу свет, —
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить...

С особенной силой скорбные настроения Карамзина, вызванные событиями во Франции, отразились в послании «Мелодор к Филалету». Крестьянские волнения в России усиливали их. «Конец нашего века почитали мы концом главнейших бедствий человечества... Век просвещения! Я не узнаю тебя, в крови и пламени не узнаю тебя, среди убийств и разрушения не узнаю тебя!» — писал Карамзин. Ему мерещилась гибель совре-

менной культуры, подобная гибели древних культур.

Карамзин понимал историческую значительность революции во Франции. В 1797 году он напечатал в гамбургском журнале статью о русской литературе, в которой писал: «Французская революция принадлежит к числу событий, определяющих судьбы человечества на долгий ряд веков. Начинается новая эпоха: я вижу это, а Руссо предвидел...» Но и в Западной Европе революция не несет народам счастья. В России же нет необходимости в социальных переменах, они слишком опасны. России необходимо найти свой собственный, самобытный путь развития, без революционных бурь и потрясений — таков ход мыслей Карамзина.

Скептицизм, недоверие к будущему, порожденные революционным ходом истории конца XVIII столетия, стремление оградить русское дворянство от потрясений привели Карамзина к представлению о поэте как соловье или маге, как об «искусном лжеце», рассказывающем далекие от жизни, но утешительные сказки.

Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой, — в добрый час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава, и венец!

(«К бедному поэту», 1796)

Карамзинский образ поэта — «искусного лжеца» и «утешителя», — столь характерный для русского дворянского сентиментализма, как он далек от понимания роли гражданского поэта Ломоносовым и Радищевым, от пушкинского пророка, который глаголом жжет сердца людей!

Проповедь ранними сентименталистами — Херасковым и Муравьевым — уединенной жизни в дворянской усадьбе среди природы, в стороне от борьбы общественных сил, в середине 90-х годов под пером Карамзина приобретает еще более определенный характер. В «Послании к Дмитриеву» (1794) Карамзин писал:

А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов...

С середины 90-х годов Карамзин последовательно шел от юношеского либерализма к консервативному мировоззрению. В «Вестнике Европы» (1802) он писал о переходе от воздушных замков молодости к «резвым» взглядам дворянского публициста: «Кто не занимался ею (революционной войной. — А. К.) с живейшим чувством? Кто не желал ревностно успехов той или другой стороне? И многие ли сохранили до конца сей войны то мнение о вещах и людях, которое имели они при ее начале? Она не только государства, но и самые души приводила в смятение».

В стихотворении «К Добродетели», напечатанном в «Вестнике Европы» 1802 года, Карамзин

повторил, что французская революция его обманула.

Неотвязные мысли о революции приводят Карамзина в 1803 году к историческому исследованию о московском мятеже в царствование Алексея Михайловича.

Стремясь понять пути развития России, Карамзин обратился к истории. В консервативной «Записке о древней и новой России», предвосхитившей многие мысли славянофилов о русской истории, Карамзин осудил ряд начинаний Петра I, о котором в «Письмах русского путешественника» писал как о великом преобразователе. За всем этим, конечно, стоял страх, как бы Россия не пошла революционным путем Франции, путем Западной Европы. Самобытность России теперь интересовала Карамзина прежде всего с этой стороны. В выводах «Записки о древней и новой России» по крестьянскому вопросу звучит все тот же мучительный страх перед восстанием Пугачева: «Не знаю, хорошо ли сделал Годунов, отняв у крестьян свободу (ибо тогдашние обстоятельства не совершенно известны), но знаю, что теперь им неудобно возратить оную. Тогда они имели навык людей вольных, — ныне имеют навык рабов. Мне кажется, что для твердости бытия государственного безопаснее поработить людей, нежели дать им не вовремя свободу». К такому выводу пришел Карамзин.

«Свобода», «вольность» в представлении Карамзина постепенно приобретали смысл, придававшийся этим понятиям ранними русскими сен-

timentалистами М. Н. Муравьевым и «Кружком Дружеского общества». Всему кругу размышлений о народных движениях, о крепостном праве, о революции Карамзин в последний год жизни подводит итог в записке «Мысли об истинной свободе». В ней он писал: «Для существа нравственного нет блага без свободы; но эту свободу дает не государь, парламент, а каждый из нас самому себе, с помощью божией. Свободу мы должны завоевать в своем сердце миром совести и доверенностию к провидению».

Карамзин начинал как дворянский либерал. Политический либерализм на первых порах не только не противоречил сентиментализму, но даже шел с ним об руку. Либерализм позволил Карамзину высказать в «Бедной Лизе» знаменитую и по тем временам политически значительную истину, что «и крестьянки любить умеют». Он вывел в литературе роман дворянина и крестьянской девушки и упрекнул дворянина, бросившего «бедную Лизу». В этом были черты либеральной гуманности. Но либерализм угасал в свете революции и прекраснодушие Карамзина объективно оборачивалось весьма суровой проповедью необходимости крепостничества. Таков был путь Карамзина.

После восшествия в 1801 году на престол Александра I обстановка для Карамзина изменилась. В 1802 году он приступил к изданию большого политического журнала «Вестник Европы», сыгравшего значительную роль в развитии русской

журналистики начала XIX века. В это время Карамзин уже работал над историей России. Поэт М. Н. Муравьев, тогда статс-секретарь Александра I, ходатайствовал при дворе за известного писателя. В 1803 году Карамзин был назначен историографом. Первые 8 томов «Истории государства Российского» вышли в 1818 году; огромный по тем временам тираж — 3 тысячи экземпляров — разошелся в 25 дней: так велик был интерес к этому произведению. В «Истории государства Российского» Карамзин сформулировал монархическую концепцию русского исторического процесса, вызвавшую решительные возражения в кругах декабристов.

В продолжение двадцати трех лет с увлечением занимаясь историей, Карамзин отошел от литературы. Даже литературная битва, разгоревшаяся между его последователями и учениками, объединившимися в дружеский кружок «Арзамас», и «Беседой», обществом главным образом литературных староверов, возникшим в 1811 году, не побудила Карамзина взяться за перо.

Как историк и писатель Карамзин приобрел общеевропейскую известность. Многие его произведения были переведены на иностранные языки: «Письма русского путешественника» — на немецкий, французский, английский, польский, голландский, повести — на датский, шведский, греческий и сербский. «История государства Российского» в 1819—1820 годах вышла в Париже; в начале 20-х годов ее опубликовали в Италии.

Смерть прервала работу Карамзина в 1826 году, когда он заканчивал 12-й том «Истории государства Российского».

В юности Карамзин стремился в поэзии к выражению своих чувств, своего духовного «я».

Эстетика Карамзина, развивавшая в известной мере взгляды ранних сентименталистов, выражавшая их отношение к действительности, имела и свои особенности, свои новые черты. Прежде всего в ней появилась стройная теория о значении личности писателя, о значении его поэтической и духовной индивидуальности, об отражении индивидуальности поэта в его творчестве. До Карамзина никто из русских писателей с такой определенностью и ясностью не указывал на эти связи.

Образ поэта так же важен для Карамзина, как образ рассказчика в его повестях, как образ автора «Писем русского путешественника». По словам Карамзина, «творец всегда изображается в творении, и часто против воли своей». В приведенном утверждении особенно любопытны последние слова. Если поэзия есть субъективное отражение мира, если чувство и фантазия поэта неизбежно выражаются в произведении и в них главное его достоинство, тогда все особенности личности творца, его моральные качества чрезвычайно важны, и Карамзин с полным основанием мог писать: «Ты берешься за перо и хочешь быть автором: спроси же у самого себя, наедине, без

свидетелей, искренно: каков я? ибо ты хочешь писать портрет души и сердца своего» («Что нужно автору?», 1793). При такой постановке вопроса задачей писателя становилось изображение не объективного мира во всем его многообразии, а субъективного мира художника. Это было характерно не только для Карамзина, но и для общеевропейского сентиментализма с его литературой путешествий, дневников, с его любовью к повествованию от первого лица.

Образ поэта, связанный со всем творчеством Карамзина, отраженный в стихах и предопределенный в известной мере и содержание карамзинской поэзии и ее субъективный лиризм, — сложный образ. В «Письмах русского путешественника» он сентиментальный, резонерствующий наблюдатель жизни европейских стран, быта, нравов и особенно человеческого сердца, но прежде всего занятый собственными переживаниями, рожденными столкновениями с незнакомой действительностью. «...а что человеку (между нами будь сказано) занимательнее самого себя?.. Почему знать? может быть, и другие найдут нечто приятное в моих эскизах; может быть, и другие... но это их, а не мое дело. А вы, любезные, скорее, скорее приготовьте мне опрятную хижинку, в которой я мог бы на свободе веселиться китайскими тенями моего воображения». Так сказано в заключительных строках «Писем».

Поэт Карамзина стремится к одиночеству и уединению, он наслаждается сельской природой, вздыхает о дружбе, сетует о неразделенном чув-

стве, философствует в стихотворных посланиях друзьям. Он соловей, поющий в годы революционной бури о прелестях любви, «искусный лжец» — утешитель, далекий от ломоносовского идеала «общественного служения».

Его излюбленное душевное состояние — чувствительность, умиление, меланхолия, его тема — частная жизнь. В предисловии к сборнику «Аониды» (1797) Карамзин писал: «Не надобно думать, что одни великие предметы могут воспламенить стихотворца и служить доказательством дарований его; напротив, истинный поэт находит в самых обыкновенных вещах пиитическую сторону».

Название первого сборника Карамзина — «Мои безделки» (1794) тесно связано с карамзинским взглядом на поэзию и дело поэта. Оно принципиально как манифест сентиментального направления.

В год выхода первой книжки «Аонид» Карамзин написал одно из своих стихотворений, посвященных новой эстетике, — «Дарования». В нем он говорит поэту:

Натуры каждое явленье
И сердца каждое движенье
Есть кисти твоя предмет...

В предисловии к «Аонидам», в стихотворениях «К бедному поэту», «Дарования», «Протей» Карамзину удалось наиболее ясно и отчетливо сформулировать свою эстетическую про-

грамму в области поэзии, изложить свою философию искусства, направленную не только против стеснительных к этому времени норм поэтики классицизма, но также и против демократических взглядов Радищева и крыловского содружества на литературу и ее значение. Новое направление, затушевывая социальные противоречия, выдвигало на первое место вопросы морали. С точки зрения русского сентиментализма природа в равной мере одарила и вельможу, и раба возможностью к счастью, поскольку счастье — не что иное, как состояние души человека. Счастье нельзя приобрести ни за какие богатства, и пастух может быть счастливее вельможи. Счастье доступно человеку в каждом общественном состоянии, — настойчиво повторял Карамзин.

Н. А. Добролюбов в статье «О степени участия народности в развитии русской литературы» правильно подметил, что такой проповедью охотно занимается человек, «живущий в довольстве и который, после вкусного обеда и приятной беседы с гостями, садится в изящном кресле, в комнате, убранной со всеми прихотями достатка, описывать блаженство бедности на лоне природы», и охарактеризовал ее как «самодовольное спокойствие человека, не думающего о счастье других», а Крылов в сатире «Каиб» в свое время метко и зло высмеял карамзинскую сентиментально-философскую идиллию.

Но и Добролюбов, упрекавший сентименталистов в индивидуализме и эгоизме, вместе с тем указал,

что «круг людей, требованиям которых удовлетворяли эти писатели, был, правда, шире прежнего... Повести Карамзина и баллады Жуковского перечитывались, можно сказать, во всем дворянском круге. Это и составляет значительный шаг вперед, сделанный карамзинскою школою. Вместе с тем она неизбежно должна была теперь несколько спуститься к действительности, — хотя все еще далеко не достигла ее».

Первые стихотворения Карамзина (1787—1788) мы находим в его письмах к Дмитриеву. По своему тону они — беседа с другом и написаны не утвердившимся в русской поэзии стихом без рифм. В них нет фабулы; это размышления, тесно связанные с настроениями, появившимися после восстания Пугачева, с биографией поэта, с миром личных переживаний. Написанные до отъезда за границу, до событий французской революции, они были отмечены новым для русской поэзии тех лет личным элегическим тоном, рождению которого во многом содействовали биографические мотивы, события частной жизни Карамзина. Эти стихи явились прообразом для обширной литературы посланий начала века, особенно Дмитриева, В. Л. Пушкина, Батюшкова, Жуковского. Как и философские стихотворения, послания Карамзина привлекали прежде всего тоном душевной дружеской беседы. Характерен самый зачин посланий: «Конечно так, — ты прав, мой друг!» («Послание к Дмитриеву»); «Мой друг! вступая в шумный свет» («Послание к А. А. Плещееву»). В дружеской беседе естест-

венны богатство интонаций, поговорка, шутка. Совсем по-онегински звучат строки в послании к Плещееву: «Смеяться, право, не грешно! Над всем, что кажется смешно».

Умение поэтически развивать философскую мысль, оставлять ее для отступления и снова к ней возвращаться, говорить о сложном просто — именно этой своей особенностью поэзия «лирической мысли» Карамзина оказалась важной для его современников. Ее, бесспорно, хорошо знал Пушкин-лицеист, к ней прислушивались поэты начала XIX столетия, отыскивая пути для развития лирической темы. Батюшков в 1816 году, в речи о влиянии легкой поэзии на язык, оглядываясь на заверченный труд поэта, сказал: «Стихотворения Карамзина, исполненные чувства, образец ясности и стройности мыслей». Значение философской поэзии Карамзина для его времени отметил Вяземский. Он писал: «В философических стихотворениях Карамзин также заговорил новым и образцовым языком. В них свободно выражается мысль. Прочтите, например, послания его к *Дмитриеву* и *Плещееву*».

Стихотворения с элегическими мотивами, такие, как «Весенняя песнь меланхолика», «Осень», «Кладбище», — первые произведения русской поэзии, подготовлявшие элегическую лирику Жуковского.

В «Кладбище» сказалось стремление, хотя и наивно выраженное, подчеркнуть субъективизм как основу восприятия мира. То, что одного стра-

шит, для другого может быть прекрасным. На этом основан спор двух взглядов на мир, каждый из которых выражает субъективную истину.

Один голос

Страшно в могиле, холодной и темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся,
Белые кости стучат.

Другой голос

Тихо в могиле, мягкой, покойной.
Ветры здесь веют; спящим прохладно;
Травки, цветочки растут.

Среди элегических стихотворений Карамзина одно из наиболее значительных и совершенных — «Меланхолия». Стихотворение рисует человека новых сентиментальных чувств; оно описывает характерное для карамзинской поэзии настроение — меланхолию. «О Меланхолия! нежнейший перелив От скорби и тоски к утехам наслажденья! — так определял Карамзин в 1800 году, в конце своей поэтической деятельности, прекраснейшее с его точки зрения, чувство человека и поэта. Мысли стихотворения в известной мере перекликаются со статьей Кутузова «О приятности грусти» и элегическими мотивами первых стихотворных опытов Карамзина.

Стихотворение оказало влияние на развитие раннего русского романтизма, на Жуковского. В 1808 году Жуковский написал статью «Меланхолия», продолжая тему Карамзина.

Несмотря на элегический и «меланхолический» склад своей лирики, Карамзин обращался и к анакреонтическим темам. Анакреонтическая поэзия воспевала любовь, вино и безмятежное счастье. Она была жизнеутверждающей, гедонистической в своем существе. В XVIII столетии на долю русской анакреонтики выпала особая роль. Именно любовная лирика — песни и стихотворения, — согласно ломоносовской иерархии жанров принадлежавшая к искусству низкому, сводила русскую поэзию с Олимпа на землю. В ней более свободно выражались чувства, она говорила простым, разговорным языком. Именно анакреонтика взрывала торжественный и условный стиль классицизма изнутри, указывала новые пути для лирической поэзии.

К русской анакреонтической традиции примыкают и многие стихотворения Карамзина, весьма популярные в свое время: «Веселый час», «Прости», «Мы желали — и свершилось!», «Доволен я судьбою», «Странность любви, или Бессонница», песня «К Лиле», стихи из лирической прозы «Афинская жизнь» и другие. Карамзин своеобразно усложняет анакреонтическую тему в духе свойственного ему пессимистического, отчасти масонского взгляда на жизнь. От анакреонтической поэзии Карамзина, смягченной и усложненной элегическими настроениями, ведет дорога к антологическим стихам Батюшкова.

С простодушной анакреонтической легкостью связана любовная лирика Карамзина, более сложная, обращенная к чувству и в то же время к

лирической мысли о чувстве. У всей карамзинской поэзии, но особенно у любовной лирики, как и у любовной лирики Державина, есть биографический подтекст. Он до конца не прочитан, да в этом и нет настоящей необходимости. Но он безусловно ощущался современниками.

Основные темы любовной лирики Карамзина: неразделенное чувство, неверность; впоследствии их дополняет тема любовной утраты и утешения. Перечисленные мотивы легко дают психологическую основу для меланхолии, для «сладкой тоски», для «мечтательных раздумий». Несколько позже они были усвоены и закреплены Жуковским.

И молодой Пушкин не мог пройти мимо любовной лирики Карамзина. В. В. Виноградов в своей работе «Стиль Пушкина» приводит ряд примеров совпадения фразеологии лицейского Пушкина и Карамзина. У Пушкина мы находим не только словесные сплавы, образы, но иногда и мысль, и даже строку из Карамзина. Не мог не привлекать Пушкина интонационный рисунок таких шуточных любовных стихотворений, как «Странность любви, или Бессонница», «Выбор жениха», «Отставка». В них была и подчеркнутая разговорность речи и даже некоторые попытки внести народные черты в тему, что также не могло не заинтересовать Пушкина.

Новые черты обнаруживаются и в изображении природы в поэзии Карамзина, особенно в элегических стихотворениях.

Читатель конца XVIII столетия впервые у

Особое место в поэтическом наследии Карамзина занимают «Граф Гваринос», «Раиса», «Илья Муромец». «Граф Гваринос» и богатырская сказка «Илья Муромец» в известной мере отвечали живому интересу к патриотическим темам, самобытности и народному творчеству, заявившим о себе в 1790-х и 1800-х годах в кротовском содружестве, в кружке Державина, у молодых радищевцев и отчасти у сентименталистов, у Карамзина.

В испанском романе XVI века, с которым Карамзин познакомился в немецком переводе, рассказывается о рыцаре-христианине, попавшем в плен к арабам. После семи лет заточения, воодушевленный чувством верности родине и своей возлюбленной, он побеждает на рыцарском турнире. Патриотическое содержание выводило романс за пределы интимной карамзинской поэзии. В русской лирике «Граф Гваринос» был первым рыцарским романсом. Возможно, он натолкнул Жуковского на перевод «Сида».

В «древней балладе» «Раиса», как и в повести «Бедная Лиза», Карамзин рассказывает о самоубийстве обманутой девушки. Раиса кончает жизнь в морских волнах. Обманутая любовь и самоубийство — социальные конфликты, нашедшие свое отражение в буржуазной сентиментальной литературе. С их острой злободневностью была связана общеевропейская слава «Вертера» Гете. Карамзин стремился обойти или затушевать социальные конфликты, и в «Раисе» социального

конфликта нет, в ней намечена только моральная проблема, изображено лишь отчаяние девушки с сентиментальной наивностью, свойственной молодому Карамзину. Параллелизм в изображении сильного чувства и картин бурной природы, страшный романтический мир, окружающий героиню, едва ли не впервые в русской поэзии появился в балладе «Раиса». За нею последовала романтическая поэма «Громвал» (1802) казанского купца и поэта Г. П. Каменева.

«Древняя баллада» и «гишпанский романс» — первые вехи раннего русского романтизма, определившие направление деятельности Жуковского; ими начинается история русской баллады.

Богатырская сказка Карамзина — своеобразная реакция на тяготение передовых кругов русского общества в середине 90-х годов к патриотической теме, к национальным мотивам и колориту. Она исторически характерный пример поисков народного стиха, хотя и не увенчавшихся успехом. Карамзинский белый стих в действительности был довольно далек от стиха народной поэзии. Но одна особенность популярной в свое время сказки Карамзина, несомненно, привлекала к ней поэтов и читателей. Это манера вести в отступлениях поэмы шуточный разговор с читателем.

Необходимо обратить внимание еще на одно стихотворение Карамзина — «Алина», помещенное автором в «Письмах русского путешественника». В нем рассказывается история светской женщины, оставленной мужем.

«Алина» написана в той сентиментальной манере, которую вскоре читатель стал воспринимать как слащавость. Прimitивно изображена в стихах и психология героев, но в них говорится о чувствах нового героя, человека светского круга, утвердившегося в русской литературе уже после Карамзина. «Алина» — предвестник русского романа в стихах, большой повествовательной новой стихотворной формы; в этом ее историко-литературное значение.

Многие стороны поэзии Карамзина получили дальнейшее развитие в русской поэзии. Ее мысли и мотивы нетрудно найти у Батюшкова и у Жуковского, шедших по карамзинскому пути. Многие поэтические формулы Карамзина, вроде: «Слава — звук пустой», «Дружба — дар прелестный», «Душе моей казалось мило», «Бранить всё то, что сердцу мило», «Беспечной юности утеха», «Подруга милая моей судьбы смиренной», «Я был игралищем страстей», — перешли в стихотворный язык начала века. Они принадлежали всем и никому, путешествуя в различных вариациях по страницам журналов и книг.

Были в карамзинской поэзии и черты, сильно ограничивавшие ее историческую роль. Прежде всего — манерность, жеманность, своеобразная аффектация чувства, вскоре ставшая мишенью для эпиграмм. Среди «безделок» Карамзина много и таких, которые являлись не столько поэзией, сколько салонной игрой: «Надписи на статую Купидона»,

«Стихи на слова, заданные мне Хлоєю». Они имели шумный успех в гостиной, но очень скоро оказались за пределами поэзии.

Говоря о значении поэзии Карамзина, необходимо отметить ее влияние на стихотворный язык своего времени.

Докарамзинскую поэзию отличала пестрота поэтического словаря. Она была характерна и для Державина, что позволило Пушкину, высоко его ценившему, сказать однажды, что автор «Водопада» «не имел понятия ни о слоге, ни о гармонии».

Если сравнить поэтические сборники 60-х годов с их переизданиями в конце XVIII столетия, бросается в глаза упорная работа над поэтическим языком, идущая у представителей сумароковской школы в ключе эстетики сентиментализма и Карамзина. Нетрудно обнаружить ее при сравнении первого издания Хераскова с собранием его сочинений (1796—1809). Значительные изменения обнаруживаются при сравнении первого издания «Душеньки» Богдановича (1783) с изданием 1799 года. Богданович усиливает сентиментальную окраску своей сказочной поэмы в духе карамзинизма. Он озабочен чистотой, ясностью стиха и поэтического слова.

Теория «трех штилей», сыгравшая огромную прогрессивную роль в развитии литературного языка, в 90-х годах XVIII века уже затрудняла его дальнейшее развитие. Для развития русской поэзии важно было прежде всего найти пути к

новому поэтическому языку. Эту задачу, хотя и узко, решил Карамзин на основе тех процессов в языке и литературе, которые требовали освобождения от слишком стеснительного влияния церковнославянского, от схоластических форм, от того, что Пушкин назвал «чуждым игом». В этом направлении развивалась литература, постепенно отказываясь от архаической витийственности. Карамзин проявил подлинный талант языковорца, повлияв всем своим творчеством на ускорение этого процесса огромной важности. Он отказался от теории «трех штилей», от высокого «штиля», напряженного, украшенного славянизмами, и низкого, грубого, «простонародного», неприемлемого для дворянской гостиной, и обратился к языку среднего «штиля»; руководствуясь его нормами, писал прозу и стихи, что само по себе было событием большой важности. И хотя еще до выступления Карамзина стали менее ощутимы строгие разграничения поэзии по жанровым признакам и в 80-х годах, благодаря поэзии Державина, постепенно начали стираться различия между языком оды и языком других стихотворных жанров, — значительную роль в этом процессе сыграла деятельность Карамзина.

Отбор словаря опирался на новое для русской литературы отношение дворянского сентиментализма к действительности. Нормативной основой отбора стала эстетика сентиментализма, что неоднократно и подчеркивал Карамзин, призывая к «торжеству чувствительности даже в самой грамматике». Оставляя за сентиментализмом не-

ограниченные права на творчество в области языка, он утверждал: «Сохрани нас бог от тиранизма! Грамматик должен быть добродушным и жалостливым, особливо к стихотворцам... Пишите как вам угодно, как вам угодно, друзья мои!» («Великий муж русской грамматики», 1803).

Карамзин обогатил русский язык многими неологизмами. Он образовал такие слова, как «развитие», «утонченный», «сосредоточить», «трогательный», «занимательность», «человечность», «общественность», «общепользовательный» и многие другие, вошедшие не только в словарный состав своего времени, но и в основной словарный фонд русского языка.

Не менее значительной и важной была работа Карамзина в области строения фразы. Тяжеловесная сложная форма уступила место легкой, короткой, ритмически организованной.

Однако провозглашенная Карамзиным языковая свобода была, в сущности, ограниченной. 22 июня 1793 года Карамзин писал Дмитриеву по поводу слова «пичужечка»: «Имя пичужечка для меня отменно приятно потому, что я слышал его в чистом поле от добрых поселян». Но не надо думать, что Карамзин призывал писателя обратиться к языку народа. Такой задачи он перед собой не ставил и не мог ставить. Он готов был позаимствовать из народной речи уменьшительные, которые находил в песнях. Но все богатство народного языка, разумеется, не могло войти в сентиментальный поэтический язык, созданный

Карамзиным. В этом же письме к Дмитриеву Карамзин просил друга убрать из стихов слово «парень», потому что в нем «нет ничего интересного для души нашей». Любопытно, что цитируемое письмо перекликается с письмом А. Петрова Карамзину от 1 августа 1787 года, где Петров с дворянским пренебрежением писал: «Пьяные мужики... находятся в натуре, но я не желал бы читать живого оных описания ни в стихах, ни в прозе». Таким образом, для Карамзина и его последователей задача заключалась в создании стиля дворянской литературы, выражающего дворянско-сентиментальное мировоззрение.

Карамзин не только не разрешил насущную задачу своего времени — сближение языка литературы с языком народа, — но был, по существу, во многом враждебен ей. В то время как Крылов стал писать для всего народа, был понят и принят в самых широких кругах русского общества и в этом смысле стал народным поэтом, Карамзин, несмотря на положительную общенациональную роль его работы в области языка, в силу своих узкодворянских убеждений и антидемократической классовой позиции, остался писателем дворянского салона и, по меткому замечанию Кюхельбекера, создавал для немногих «un petit jargon de coterie». ¹

¹ Жаргон партии, круга.

С деятельностью Карамзина в области литературного языка тесно связана распря А. С. Шишкова с карамзинистами.

В 1803 году Шишков выпустил в свет «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка», направленное против нового языка Карамзина и его последователей. Первые выпады Карамзина, как полагал Дмитриев, затрагивали главным образом московских переводчиков греческих и церковных книг, проявлявших особую ревность к славянскому слогу. Это лишь отчасти справедливо; в действительности Карамзин еще в «Московском журнале» нападал на устарелость языка русских переводов и всей деловой литературы своего времени, а не только на «славянщину». Он и сам обращался к таким славянизмам, как *персты*, *младость*, и другим, не противоречившим духу сентиментального словаря, вносящим сентиментальную возвышенность в поэтический язык и утвердившимся в 10—20-х годах XIX столетия в русской, особенно легкой, поэзии.

Книга Шишкова вызвала протесты сторонников «легкого языка» Карамзина. Поборник старины в вопросах политики и культуры, выразитель взглядов наиболее реакционного дворянства, Шишков связывал новый слог с «наклонностью к безверью, своевольству, к новой пагубной философии». Под его пером Карамзин превращался едва ли не в проповедника революции.

Опасения Шишкова были, разумеется, неосновательны.

Большой интерес представляют попытки критиковать сентиментализм Карамзина со стороны последователей Радищева и кругов, где постепенно зрело недовольство всем ходом русской жизни при крепостном строе. Одним из таких умеренных кружков был дружеский литературный кружок братьев Тургеневых, где в 1801 году Андрей Тургенев произнес на собрании речь и в ней утверждал, что Карамзин хотя и создал «эпоху в нашей литературе», хотя и «пишет в своем роде прекрасно», но в целом нанес ей вред прежде всего тем, что отказался от больших сюжетов эпической поэзии и увлек литературу к «мелочным родам». В критике Андрея Тургенева, может быть, впервые еще, робко звучали упреки, высказанные позже в кругах декабристов. Представители «Вольного общества любителей словесности, наук и художеств», отвергая шишковскую позицию в вопросах языка, вместе с тем не одобряли и Карамзина, стремясь к созданию общественно-активной, самобытной литературы, борющейся за передовые идеи своего времени. В известной мере взгляды «Вольного общества» на карамзинизм и язык карамзинистов разделял и Н. А. Гнедич, писавший в 1810 году, что в Москве «воздух заражен чувствительностью».

Однако в эти годы противники Карамзина, вопреки своим взглядам, во многом следовали карамзинской литературной традиции. Член упомянутого дружеского литературного кружка А. С. Кайсаров, противник крепостного права, назвал сборник своих стихотворений «Саратовские без-

делки», и в нем немало карамзинских стихов. С другой стороны, даже Шишков, ополчавшийся на сентиментальный стиль, как переводчик подчинялся духу сентиментального направления.

Распря между шишковистами и карамзинистами тянулась пятнадцать лет и послужила толчком к широкому обсуждению вопросов языка и литературы.

Современники ощущали стремительные сдвиги в литературном языке, происшедшие в годы деятельности Карамзина. Вяземский в предисловии к собранию стихотворений Дмитриева (1823) с восторженностью правоверного карамзиниста писал, что «изданием «Московского журнала» начинается новое летоисчисление в языке нашем». В той же статье он подчеркнул «влияние» Карамзина на Шишкова и «Беседу». «Примечательно и забавно то, — писал Вяземский, — что Карамзин и Дмитриев, как великие полководцы, которые, преобразовав искусство военное, кончают тем, что самых врагов своих научают сражаться по системе, ими вновь введенной, научили неприметным образом и противников своих писать с большим или меньшим успехом по-своему». Характерно, что даже официальный язык времени прошел карамзинскую школу: в сенате, в суде, в канцеляриях, по воспоминаниям современников, утвердился новый слог.

Так называемая «реформа» Карамзина, по существу, была главным образом реформой повествовательных стилей прозы, но она оказала большое влияние и на развитие поэзии.

Белинский считал, что в стихотворениях Карамзина «русская поэзия сделала решительный шаг вперед, и со стороны направления, и со стороны формы».

Чернышевский в «Очерках гоголевского периода» полагал, что можно как угодно судить о поэтическом таланте Карамзина, но «плохих стихов у него найти невозможно».

Пушкин с широтой всеобъемлющей, быть может свойственной только ему в те годы, превосходно понимал историческое значение литературной деятельности Карамзина.

2

Значительную роль в формировании русского дворянского сентиментализма сыграл ближайший соратник Карамзина Иван Иванович Дмитриев.

Литературное содружество Карамзина и Дмитриева было настолько тесным, несмотря на различие их творческих индивидуальностей, что эта близость дает право на издание лирики обоих поэтов в одной книге. Друзья в молодости собирались и сами осуществить такое издание. После выхода в свет сборника Карамзина «Мои безделки» Дмитриев издал «И мои безделки» (1795), стремясь подчеркнуть органическую связь и неразрывность этих двух собраний стихотворений.

Дмитриев родился в 1760 году в имении отца под Симбирском. Здесь прошло его детство, отсюда с родителями он бежал от Пугачева в Москву. Четырнадцать лет он поступил в гвардейский Семеновский полк. В годы военной службы, между строями и караулами, начал писать стихи. Тогда же завязалась его дружба с Карамзиным, и хотя Карамзин был моложе Дмитриева на шесть лет, он вскоре стал для него судьей и руководителем в литературной работе. В «Московском журнале» и позже в других изданиях Карамзина появились почти все произведения Дмитриева.

Быстро прославившись, с 1797 года член Российской академии, Дмитриев стал законодателем в кругу салонных поэтов сентиментального направления.

В 1796 году произошло событие, изменившее весь ход жизни и деятельности Дмитриева. В дни коронации Павла I он был ложно обвинен в покушении на императора и взят под стражу. Когда ошибка выяснилась, на Дмитриева, гвардейского офицера и к тому времени известного поэта, щедро посыпались царские милости и началась его феерическая карьера, одна из тех удивительных карьер, которыми так славилось павловское царствование: с гатчинского парада легко было попасть и в следующий чин и в Сибирь. Дмитриев, избежав виселицы или плахи, вышел из офицеров в сенаторы. «Он полетел в чины», — писал в «Капище моего сердца» не без зависти

князь Долгоруков. однополчанин Дмитриева и поэт.

В 1797 году Дмитриев был назначен товарищем министра уделов и вскоре обер-прокурором сената. В 1799 году, после служебных неприятностей, он вышел в отставку, а в 1806 году Александр I вернул его в сенат. Четыре года Дмитриев прослужил министром юстиции (1810—1814), после чего окончательно вышел в отставку и переселился в Москву.

Под старость, осторожный вельможа, представитель просвещенного екатерининского дворянства конца столетия, он постепенно отошел от живой литературы. В конце своего писательского пути знаменитый соратник Карамзина явился представителем ушедшей школы, генералом без войска, обломком литературной старины, чужим для передовой русской литературы. Его творчество сохранило поэтическую прелесть и значение только для ближайших последователей.

Все, что мог сказать Дмитриев-поэт, он сказал в 90-х годах XVIII столетия, и собрание его сочинений 1803—1805 годов, первое после сборника «И мои безделки», было, по существу, уже итогом его деятельности. То немногое, что он написал позже, не уступало написанному в молодости, но не вносило в русскую литературу ничего нового. Книга его апологов — четырехстрочных басен, переводов по преимуществу из Мольво, вышедшая в 1826 году, в год следствия над декабристами, — прошла почти незамеченной.

Уже в 1815 году, когда еще раздавались шумные похвалы собраниям стихотворений Дмитриева, лицеист Пушкин откровенно шутил над сентиментальными стихами.

В 1824 году Пушкин писал Вяземскому: «Повторяю тебе перед евангелием и святым причащением — что Дмитриев, несмотря на все старое свое влияние, не имеет, не должен иметь более весу, чем Херасков или дядя Василий Львович». Это письмо Пушкин писал по поводу восторженной статьи Вяземского к собранию стихотворений Дмитриева 1823 года. Для Вяземского и Жуковского дух салонной светской изысканности в поэзии Дмитриева был дорог. Для них Дмитриев был учителем, а его произведения — знаменем аристократической литературы. Жуковский в стихотворном послании «К Ив. Ив. Дмитриеву» 1831 года и позже, в письме 1834 года, писал об этом: «Вы все-таки останетесь для меня на всю мою жизнь второю ипостасью нашего незабвенного Николая Михайловича Карамзина».

Дмитриев умер в декабре 1837 года, намного пережив литературную эпоху, к которой он принадлежал.

Дмитриев-поэт не соперничал с Карамзиным. Он шел своей дорогой, сохраняя верность дворянскому сентиментализму в карамзинском толковании. Но современники отдавали пальму первенства как поэту ему, а не Карамзину, и Бе-

линский утвердил эту точку зрения в истории литературы.

Чем же отличался поэт Дмитриев от Карамзина-поэта?

До союза с Карамзиным Дмитриев воспитывался в традициях классицизма, и, по его словам, образцами в начале литературного пути ему служили Сумароков и Херасков. Став сентименталистом, он сохранил в своем творчестве многие черты предшествующего направления. Так, например, в своих собраниях сочинений Дмитриев строго придерживался традиционного для классицизма расположения стихотворений по жанрам. Из жанров в поэзии классицизма особенно высоко ценилась ода, и Дмитриев, в отличие от своего соратника, выступив с сатирой против сочинителей од и самого жанра оды, сам нет-нет да и грешил одой, и Карамзин осторожно выговаривал ему за это. 6 сентября 1794 года он писал: «Ода и «Глас патриота» хороши поэзиею, а не предметом. Оставь, мой друг, писать такие пьесы нашим стихокропателям. Не унижай муз и Аполлона. — Подражание Горацию, *сострадание и к свирелке* достойнее твоей лиры по своему содержанию».

Карамзин был враждебен оде и обращался к ней только из деловых соображений. Дмитриев не испытывал этой вражды. Он написал оды: «Смерть князя Потемкина» (1791), «На мир с Оттоманскою портою» (1792), «Глас патриота...» (1794) и другие. Близки к оде некоторые его лирические стихотворения, например «Освобожде-

ние Москвы» (1795). Но под пером Дмитриева ода классицизма приобретала новые черты.

Дмитриев приблизил оду к лирическому стихотворению о героическом прошлом русского народа, отчасти сохранив энергичный одический стих, ораторский торжественный тон, сложный метафорический образ. Характерно в этом отношении стихотворение «Освобождение Москвы» о подвиге князя Пожарского. Дмитриев не включил стихотворение в рукопись для издания 1823 года, но оно все же появилось в нем, вероятно, не столько по совету М. А. Дмитриева, сколько по настоянию П. А. Вяземского. Своему племяннику Дмитриев говорил: «Я хотел сделать нечто драматическое, но не сладил». Драматический характер, отчасти присущий жанру оды, Дмитриев внес в свою маленькую лирико-драматическую поэму «Ермак». Высокий патриотический строй «Освобождения Москвы» привлек Пушкина, и к седьмой главе «Онегина», рядом с эпиграфами из Грибоедова и Баратынского, он поставил эпиграф из этой «полуоды»:

Москва, России дочь любима,
Где равную тебе сыскать?

К сатире Карамзин относился враждебно, и это понятно: она стояла поперек пути его стремлениям сгладить в литературе социальные противоречия. Дмитриев относился к сатире иначе, чем его соратник, и, создавая сатирические произведения в интересах дворянства, он опирался

*

главным образом на сумароковскую традицию, придерживаясь ее нравоучительных начал.

Свою поэтическую деятельность Дмитриев, по-видимому, и начал с сатир. В его мемуарах о «первоначальных стихотворных опытах» сказано, что они были «большой частью сатирические» и «брошены в огонь».

Сатирическое дарование Дмитриева нашло выражение в его сказках и баснях. Через Дмитриева сатирическую традицию подхватили младшие карамзинисты и главным образом В. Л. Пушкин.

Из сатир на первое место следует поставить сатиру «Чужой толк», написанную в пору расцвета литературной деятельности Дмитриева, в отпуску от военной службы, на родине в Сызрани в 1794 году, особенно плодотворном для поэта.

«Чужой толк» привлек внимание читателей еще в рукописи. Белинский впоследствии называл его «превосходной сатирой». Она была настолько злободневна, что в первом издании («И мои безделки») к строке «Возьму ли, например, я оды на победы» Дмитриев поместил примечание: «Строгий критик имел в виду не все, а некоторые только оды; но читатели и без сего замечания должны быть уверены, что произведения Хераскова, Державина, Петрова не в числе оных».

Сатира «Чужой толк», разившая ведущий жанр классицизма, оказалась сильнейшим оружием сентиментального направления. И дело заключалось не только в том, что Дмитриев высмеял в ней

оды и незадачливых сочинителей од. В сатире были острые афористические строки, которые говорили о положении писателя в век «просвещенного» деспотизма, о судьбе поэта при дворе и поэта без чинов и званий, допускавшегося не дальше передней.

Отразились в «Чужом толке» и взгляды сентиментального поэта. Дмитриев защищает в сатире легкость, свойственную дилетантизму, популярному тогда в дворянских гостиных, и высмеивает трудолюбие одописца. Однако и крайний дилетантизм — поэзия петиметра — вызывает его сатирическую отповедь.

Как в XIX столетии стали широко известны многие сатирические строки из «Горе от ума» Грибоедова, так в конце XVIII века повторяли крылатые строки из «Чужого толка»:

...Короче я скажу:

В стихах реляция! прекрасно!.. а зеваю!..

А наших многих цель — награда перстеньком,
Нередко сто рублей иль дружество с князьком,
Который отроду не читывал другога,
Кроме придворного подчас месяцеслова...

И оду уж его тисненью предают,
И в оде уж его нам ваксу продают!

О склонности Дмитриева к сатире и его стремлении изобразить иногда обыденную жизнь с грубоватой правдивостью оставаясь сентименталистом, свидетельствуют несколько его стихотворений, развивающих «низкую», бытовую тему.

Наиболее характерно в этом отношении стихотворение «Карикатура» (1791), которое Карамзин считал «превосходною пьесою в своем роде». М. А. Дмитриев в «Мелочах из запаса моей памяти» рассказывает, что в ней «описано истинное происшествие, случившееся в Сызранском уезде в деревне Ивашевке». Известно даже имя героя — отставного вахмистра: Прохор Николаевич Патрикеев, а в бумагах Дмитриева хранился рисунок пером, изображающий Патрикеева подъезжающим на «старом рыжаке» к селу. Стихотворение особенно интересно для историка литературы как попытка поэта-сентименталиста в повествовательной лирической манере рассказать подлинную историю простых людей, передать в шуточных, отчасти гротескных красках трагическую судьбу героев этой, как говорили в те времена, «простонародной баллады». Она написана в разговорных тонах, отсутствие рифмы усиливает ощущение естественности рассказа. Пушкин помнил «Карикатуру». В «Станционном смотрителе» (1830), выслушав печальную историю Дуни, автор говорит: «Таков был рассказ приятеля моего, старого смотрителя, рассказ, неоднократно прерываемый слезами, которые живописно отирал он своею полою, как усердный Терентьич в прекрасной балладе Дмитриева».

«Карикатура» была произведением сентиментальным по замыслу. Но стихи благодаря бытовой теме, подсказанной жизнью, отошли от условности и пасторальности дворянского сентиментализма. Позже автор ощутил «простоту» своей

баллады как недостаток и в собрание стихотворений 1823 года ее не поместил.

К «Карикатуре» близко стихотворение «Будочник», увидевшее свет только после смерти поэта. Стихотворение — монолог ночного сторожа, обращенный к горожанам. Он написан с грубоватым юмором «Карикатуры».

Элементы сатиры и критического отношения к действительности в рамках, приемлемых для дворянского сентиментализма, можно найти и в некоторых других стихах Дмитриева в «Московском журнале». Но, очищая свои стихи от неудачных оборотов и слов, чуждых поэтическому словарю сентиментализма, Дмитриев последовательно освобождал их от сатирической окраски, а что нельзя было «исправить», как, например, «Карикатуру», он перестал печатать.

Несмотря на это, Дмитриев долго воспринимался читателями как писатель-сатирик и связывался, согласно карамзинистской концепции Вяземского, с фонвизинской традицией.

К разделу сатирических произведений следует отнести и две так называемые сказки Дмитриева — «Модная жена» (1791) и «Картина» (1790). Оба произведения лишены сказочного колорита. Они скорее бытовые истории, примыкающие к ранним опытам Дмитриева в сатирическом жанре.

«Модная жена» — анекдот о хитрой жене, обманувшей старого кривоглазого мужа; в разных вариациях он был известен в XVIII веке и в

Западной Европе, и у нас. Встречается он в сборниках анекдотов и в народных картинках, например «Повесть забавная о купцовой жене и о приказчике, в восьми картинах».

Своеобразие обработки сюжетного народного мотива о женских хитростях и женских увертках в «Модной жене» Дмитриева прежде всего в том, что поступки, относимые обычно к пригожим поварихам и купеческим женам, перенесены в светскую среду, в высшее общество.

В «Модной жене» читатель находил те сатирические характеристики социальных пороков, с которыми он позже встретился в «Чужом толке»:

Пролаз в течение полвека
Всё полз да полз, да бил челом,
И наконец таким невинным ремеслом
Дополз до степени известна человека.

Своеобразие «Модной жены» — и в бытовых чертах, в реалистических подробностях, в народных поговорках, включенных в стих («Но он лишь со двора, а гость к нему на двор», «А он — как в руку сон!»).

Большое значение для развития русской поэзии имела и разговорная легкость повествовательной манеры этой сатирической истории. Вольные, эротически окрашенные произведения В. Л. Пушкина и карамзинистов, связанные с поисками легкого разговорного языка, продолжали традицию «Модной жены». «Какой угрюмый дурак станет важно осуждать *Модную жену*, сей прелестный

образец легкого и шутливого рассказа?» — писал Пушкин в 1830 году, оценивая значение непри-
нужденности стиха Дмитриева. С похвалой ото-
звался о «Модной жене» и Белинский в седьмой
статье о «Сочинениях Александра Пушкина».

Почему «Модную жену» называли сказкой?
В произведении есть такие строки: «Так слу-
шайте меня, я сказку вам начну про модную
жену». Возможно, что приведенные строки пона-
чалу дали повод называть «Модную жену» сказ-
кой. Карамзин никогда ее сказкой не называл.
Между тем Дмитриев во всех собраниях сочине-
ний настойчиво помещал ее в разделе сказок. Ви-
димо, им руководило желание смягчить сатириче-
ский характер произведения: не следует коро-
венькую бытовую историю слишком настойчиво
примерять к жизни, связь и так очевидна, а в
разделе стихотворных сказок она приобретает и
характер обобщения жизни и защищающие ее
черты условности.

Перевод басни Лафонтена «Воспитание Льва»
осторожный поэт и царедворец Дмитриев также
помещал в сказки. В данной басне речь идет о
воспитании царей, и он решил, что спокойнее на-
звать ее сказкой. Так басня «Воспитание Льва»
попала в раздел сказок в двух собраниях его со-
чинений.

Наиболее известной была сказка Дмитриева
«Причудница», написанная на основе сказки
Вольтера «La Béguéule», в которой, по мнению
карамзинистов, Дмитриев «далеко превзошел»
оригинал.

«Причудница» — не перевод, а переделка, «переложение», как говорили в XVIII веке, отличающееся от источника и по содержанию, и по форме. Такие переделки на национальный лад, широко распространенные в XVIII столетии, были связаны с общеевропейской традицией и долго пользовались популярностью и признанием.

Свобода обращения с текстом диктовалась представлением о праве переводчика усовершенствовать оригинал. Поэтому не случайно, что совершенно разные мотивы и отступления от оригинала появлялись в переложении одного и того же произведения у разных авторов.

Надо сказать, что самобытный характер русской литературы XVIII столетия утверждался в связи и с этой традицией переложений, создававшей каждый раз нечто новое, своеобразное, не равнявшееся источнику. Карамзин в статье о Богдановиче и его сочинениях писал по поводу «Душеньки»: «Она <сказка Лафонтена о Психее> служила образцом для русской Душеньки; но Богданович, не выпуская из глаз Лафонтена, идет своим путем и рвет на лугах цветы, которые укрылись от французского поэта».

Кроме Лафонтена, Дмитриев переводил Флориана, Гишара, Арно, Буасара, Ламота, Имбера. Он знакомил русского читателя с французской поэзией классицизма, правда, не с лучшими ее образцами, а с пасторальными произведениями, которые ближе были к русскому дворянскому сентиментализму. Между прочим, первый русский стихотворный перевод из Гете принадлежал Дми-

триеву. Он был напечатан в журнале «Приятное и полезное препровождение времени» (1795) под названием «На случай грома. Подражание германскому поэту г. Гете» (перевод стихотворения «Границы человечества», *Grenzen der Menschheit*).

Работа Дмитриева как переводчика имела большое значение для развития культуры русского перевода. С его именем связана в конце XVIII столетия традиция точного, близкого к оригиналу стихотворного перевода. Он был одним из первых русских переводчиков, стремившихся передать дух стихотворного оригинала.

Но Дмитриев не только переводил сказки и басни Лафонтена, Имбера, Флориана и других, но, как было сказано, часто отказываясь от точного перевода, создавал на основе этих сказок нечто новое и несомненно национальное. В самом деле, достаточно бегло сравнить сказку Вольтера и «Причудницу», чтобы уяснить, как далеко Дмитриев уходил от оригинала. В сказке Вольтера 219 строк, у Дмитриева — 383. Сказка «*La Béguenule*» («Дурочка») лишена бытового колорита, основное в ней — шутливая аргументация Вольтера, доказывающего, что молодая светская женщина, скучающая в Париже в домашнем кругу и сторонящаяся мужа и мужчин, не будет счастлива даже в раю. Скука заставляет дурочку Арсену бежать из волшебного края, куда ее поселила крестная-волшебница и где нет мужчин. В лесу Арсене приходится разделить постель с угольщиком, после чего, вернувшись домой, она оценивает любовь мужа и для полноты светского

счастья заводит любовника. Написанная с вольтеровским остроумием и направленная против лицемеров и святош, сказка была популярна в XVIII столетии.

В «Причуднице» Дмитриев рассказывает о молодой женщине из старинного дворянского рода, живущей в Москве.

Основную идею, сатирически раскрытую в сказке Вольтера: обстоятельства воспитывают человека, Дмитриев преобразил в «Причуднице» на сентиментальный лад: человек должен довольствоваться тем, что имеет.

Дмитриев писал сказки, соединяя две линии русской повествовательной поэзии XVIII века: сказочную, волшебную «Душеньки» Богдановича, написанной стихом далеким от народного языка, но уже дававшей пример богатства интонаций и разговорности в стихотворном повествовании, и традицию Василия Майкова — его сатирических гротескных поэм. В поэмах Майкова, написанных, по словам Сумарокова, особым «шутливым складом», Дмитриев находил грубоватый, пересыпанный народными словечками язык и сатиру, которые, несомненно, привлекали его.

Соединение двух повествовательных стихий вело Дмитриева к свободному рассказу, к отступлениям с прямым обращением к читателю.

Весьма популярны были песни Дмитриева. Они начали появляться в печати с 1792 года. Первые три, в том числе песня «Сизый голубок», ставшая широко известной, опубликованы в «Московском журнале».

В объяснении к своему стихотворению «Цыганская пляска» (1805) Державин очень точно определил своеобразие песен Дмитриева, указав, что «Дмитриев упражнялся в песнях нежного рода».

К концу XVIII века литературная песня стала особенно популярным жанром в поэзии. Песни Сумарокова и Хераскова, сентиментальная песня Нелединского-Мелецкого предшествовали дмитриевской. Уже в песнях Нелединского заметно стремление использовать мотивы и формы народной песни. Издание сборников разных песен, в том числе и народных, М. Д. Чулкова (1770—1773), Н. И. Новикова (1780—1781) и, наконец, составленный Н. А. Львовым сборник народных песен с нотами в записи Прача (1790) указывает на то, как возрос в те годы интерес к народным песням.

В 1796 году Дмитриев выпустил «Карманный песенник, или Собрание лучших светских и простонародных песен». Начинается сборник «песнями нежными». Песни разделены по жанрам. В песнях «во вкусе простонародном» есть и былевые, и святочные, и свадебные, и темничные. Дмитриев отбирал их из вышедших ранее сборников, очень осторожно обращаясь с текстом и проявляя при этом живое чувство народной песни. Возможно, что некоторые из них Дмитриев слышал и сам записывал. Литературная песня в сборнике Дмитриева представлена произведениями почти всех русских поэтов XVIII века и особенно песнями, которые по характеру своему ближе к сентиментализму.

Любовная лирика классицизма с ее духом

пасторали, с «томными вздохами», «токами слез», «голосом слезным», с кукольными пастушкáми, не имеющими ничего общего с крестьянской жизнью, нашла свое продолжение в сентиментальной песне-романсе. Для «нежных» песен литературного происхождения в XVIII столетии была характерна элегическая тоска. Темы этих песен: раз-молвка, расстроившееся свидание, сомнение в вер-ности или взаимности — переживания, чуждые подлинно народной песне, где всегда существо-вал серьезный повод для большого чувства, для горя: смерть любимого человека, отъезд милого на войну, брак по принуждению — мотивы, рож-денные самой жизнью. Песня, говорившая о тя-жести народной доли, певшаяся в народе, в XVIII столетии почти не соприкасалась с литера-турной. Отдельные мотивы этих песен под пе-ром поэтов преображались и по большей части облекались в пасторальные одежды. Характерно, что в песнях Нелединского-Мелецкого, Капниста связь сентиментальных мотивов с народными иногда прямее, чем в песнях Дмитриева, более близких к лирическому стихотворному романсу. Дмитриевские песни «нежного рода» резко выра-жали тенденцию русского дворянского сентимен-тализма. Она сказывалась и в содержании, и в форме песен. Так, в песне «Видел славный я дво-рец», вызвавшей, по словам издателя «Приятного и полезного препровождения времени», где она впервые была напечатана, множество подражаний, развита традиционная для карамзинского сенти-ментализма мысль о счастье с любимым челове-

ком в сельском уединении, вдали от двора и городской суетной жизни. Темы песен Дмитриева продолжали традицию пасторали. Характерна для них и некоторая окрашенная элегичностью назидательность. Однако несмотря на недостаток глубокого и естественного драматизма, несмотря на пасторальный колорит, песни Дмитриева отвечали потребности в чувстве и благодаря этому приобрели огромную славу и популярность. Из гостиной знаменитый «Сизый голубок» и другие песни Дмитриева перешли в народные песенники, в которых издавались едва ли не до Октябрьской революции.

Послания, а также короткие лирические стихотворения и стихотворные мелочи Дмитриева, как и песни, особенно характерны для сентиментального направления. Дмитриев и Карамзин явились учителями в этом роде «легкой поэзии», породившей альбомную литературу и множество подражателей. Творчество В. Л. Пушкина, ближайшего ученика Дмитриева, показывает бесперспективность увлечения светскими поэтическими мелочами. А произведения П. И. Шаликова (1768—1852), правоверного приверженца легкой поэзии салонных мелочей, в 10-х и 20-х годах воспринимались как явление внелитературное и послужили мишенью для множества насмешек и шуток.

Легкая поэзия была тесно связана с общеевропейской традицией, и особенно с французской. Эта связь поддерживалась и деятельностью Дмитриева-переводчика.

В шуточных стихотворениях Дмитриев был учителем и молодого Жуковского, что особенно заметно на так называемых долбинских стихотворениях последнего (1814—1815), и Батюшкова. В лицейских шуточных стихах и эпиграммах Пушкина возможны отголоски шуточных безделок Дмитриева. Пушкин, преодолевая карамзинизм, его идеи, язык и формы, в 1822 г. в письме к Гнедичу в полемической запальчивости почти совсем отвергал поэзию Дмитриева. Но в стихотворении «Городок» (1815) он поставил его на своей книжной полке рядом с Крыловым и, обращаясь к Лафонтену, писал:

Ты здесь — и Дмитриев нежный,
Твой вымысел любя,
Нашел приют надежный
С Крыловым близ тебя.

Следы чтения Дмитриева можно найти в самом тексте стихов и у Жуковского, и у Пушкина. Так, ритмический рисунок стансов Дмитриева «Я счастлив был во дни невинности беспечной» (1803) повторил Жуковский в стихотворении «Там небеса и воды ясны» (1816) и Пушкин в стихотворении «Певец» (1816).

Особое место в лирике Дмитриева занимает маленькая лирико-драматическая поэма «Ермак»; в свое время она принесла автору широкую известность в литературных кругах. В 1826 году, когда вышли в свет «Апологи» Дмитриева под инициалами «И. Д.», парижский журнал «Revue

Encyclopédique» (1826) отметил, что нетрудно под этими инициалами узнать Дмитриева, знаменитого певца «Ермака».

Почему именно «Ермак» привлек такое пристальное внимание читателей и критики?

«Ермак» был написан Дмитриевым в Сызрани. В поездках по Волге живо открывалось поэту прошлое края, его историческое значение, определившее путь русских за Урал, в Сибирь. И в стихотворении «К Волге», написанном в то же лето, слышатся отзвуки размышления Дмитриева о русской истории.

Интерес к прошлому, стремление патриотически осмыслить историческую роль русского государства были характерны для литературы конца XVIII столетия. Он по-своему нашел отражение и в маленькой поэме Дмитриева.

Восторженный сторонник Дмитриева Вяземский говорил, что «Ермак» исполнен любви к отечеству, но не грубой, которая охлаждает душу читателя, а возвышенной; что Дмитриев воплотил в своей поэме представления не официального, по словам Вяземского, «грубого патриотизма», а нечто более близкое к мыслям и чувствам дворянского сентименталиста, то есть к либеральному варианту по существу тех же монархических взглядов, благодаря чему его маленькая поэма вызвала широкий интерес в дворянских кругах.

Белинский почувствовал смелость и романтический, отчасти оссиановский колорит маленькой поэмы. В первой статье о «Сочинениях Александра Пушкина» он писал, что поэт «решился вывести

двух сибирских шаманов, из которых старый рассказывает молодому, при шуме волн Иртыша, о гибели своей отчизны. Стихи этой пьесы для нашего времени и грубы, и шероховаты, и непоэтичны; но для своего времени они были превосходны. . . . Что же касается до манеры и тона пьесы, — это было решительное нововведение, и Дмитриев потому только не был прозван *романтиком*, что тогда не существовало еще этого слова».

И действительно, нужна была решимость для того, чтобы об историческом событии, прославляющем предприимчивость и военные подвиги русских войск, рассказать словами шаманов, словами побежденного, а не победителя. Ни один поэт классицизма не решился бы на такой шаг.

Дмитриев попытался уйти от традиционной патриотической концепции военной оды классицизма. Гуманность сентименталиста требовала, чтобы победитель видел в побежденном человека.

Карамзин с одобрением отнесся к новому опыту Дмитриева: «Браво! Вот поэзия, — восхищался он в письме (6 сентября 1794 г.). — Пиши так всегда, мой друг».

В середине 90-х годов дмитриевский «Ермак» явился единственным опытом короткой историко-патриотической поэмы.

Продолжение традиции патриотической оды, обращение к темам героического прошлого («Освобождение Москвы», «Ермак»), а также сатирические краски вносили своеобразие в поэзию Дмитриева-карамзиниста и ставили ее рядом с ли-

тературным наследием Карамзина как самостоятельное явление. Эти особенности выделяли Дмитриева из всего круга салонных сентиментальных поэтов. Интересен в этой связи отзыв А. А. Бестужева в обзорной статье «Полярной звезды» (1823), где он писал, что «летучий рассказ его <Дмитриева> повестей пленителен, утонченность насмешки в сатирах примерна...»

В русской литературе конца XVIII — начала XIX века басни Дмитриева были так же популярны, как и его лирика. Мерзляков, характеризуя развитие русской басни до Крылова, говорил: «Сумароков нашел их среди простого, низкого народа; Хемницер привел их в город; Дмитриев отворил им двери в просвещенные образованные общества, отличающиеся вкусом и языком».

Дмитриев явился создателем сентиментальной басни. Ее особенности по сравнению с басней классицизма заключались в сентиментальном колорите повествования, в том, что в басне Дмитриева появились лирические отступления, легкое салонное остроумие, сглаженный светский язык, враждебный духу демократической сатиры. Иногда они граничили с пасторалью. Положительное значение для развития жанра имела дальнейшая драматизация басни под пером Дмитриева. Она гибче сумароковской, басенный диалог ее экспрессивнее, но она уходит от фольклора, от народной речи.

Дмитриев никогда не был теоретиком, но его последователь Александр Измайлов приложил к своим басням в издании 1826 года «Опыт о рас-

сказе басни» — теоретическое осмысление сентиментальной практики в области басни, и, в частности, басни Дмитриева. Охарактеризовав в басне забавное и приятное, отметив ее естественность и простодушие, считавшиеся необходимыми качествами жанра, Измайлов утверждал: «Писать просто и с тем вместе приятно весьма трудно... Для сего потребно особенное искусство, которое приобретается не столько учением и чтением книг, сколько посредством обращения с людьми лучшего тона».

Говоря о языке басни, Измайлов, по существу, излагал взгляды Дмитриева: «Слова и выражения низкие, употребляемые чернью и принадлежащие к какому-нибудь областному наречию, ни в басне, ни в других сочинениях, которые должны быть писаны простым слогом, не могут иметь места».

Жанр басни, согласно поэтике классицизма, принадлежал к низкой литературе. В басне допускался народный язык, соответствовавший «низкому штилю», грубоватый народный юмор. Дмитриев стал писать басни языком, близким к «среднему штилю», на основе которого и формировался очищенный, богатый интонациями, но салонно-манерный язык русского сентиментализма.

Дмитриев стремился сгладить в басне остроту народной речи. Он считал, что басня в гостиной должна звучать на облагороженном языке, а языку крестьян, языку народа не место в литературе. В этом он следовал советам Карамзина. Дмитриеву-сентименталисту была чужда и враждебна

неприглаженная, непокорная стихия народной речи и народного юмора. Вот почему Крылов, нашедший прямые пути к богатству народного языка и народной мудрости, к «веселому лукавству ума, насмешливости и живописному способу выражаться», по словам Пушкина, и стал в басне выразителем духа русского народа.

Пятнадцать лет спустя после журнальной войны по поводу народности в русской басне Белинский дал следующую характеристику басням сентиментального поэта: «В них блистает салонный ум XVIII века; в них язык наш сделал значительный шаг вперед. Конечно, мы уже не можем восхищаться баснями Дмитриева... но с ними связаны самые сладостные воспоминания о золотой поре нашего детства... Некоторые забавники и теперь еще сказки Дмитриева ставят выше «Онегина» Пушкина, и мы уверены, что многие старики от души соглашаются с этими забавниками... Однакож басня все-таки многим обязана Дмитриеву» («Басни Ивана Крылова», 1840).

Ученик Карамзина В. А. Жуковский в конспекте истории русской литературы, составленном в конце 1826 или в начале 1827 года, определил значение поэтической деятельности Дмитриева для развития языка русской поэзии. Жуковский утверждал, что Дмитриев совершил «переворот в поэтическом языке», и он довольно точно изложил, в чем заключается, по его мнению, этот переворот. «В своих стихотворениях он <Дмитриев> учил искусству поэтически и правильно

выражаться. Как и Карамзин, он показал тайну употребления слова в прямом значении без ущерба для поэтической свободы выражения».

Завоевания Дмитриева в области поэтического языка превращали его в учителя карамзинистов и молодых арзамасцев, в учителя Жуковского и Батюшкова.

Карамзин и Дмитриев оказали значительное влияние на развитие русской литературы.

Разумеется, карамзизм был антитезой радищевских идей и радищевской линии развития литературы. Конечно, он выражал стремление найти позицию, примиряющую социальные противоречия. Радикальные попытки разрешить крестьянский вопрос были ему в высшей степени враждебны. В нем отразились осторожные либеральные настроения части русского дворянства после крестьянской войны, в годы широкого буржуазного движения в Европе на рубеже двух столетий.

В чем же заключались положительные стороны писательской деятельности Карамзина и Дмитриева? О некоторых говорилось выше; одной из них было повсеместное утверждение более гибкого языка, включившего широкий круг новых слов и новую фразеологию для выражения идей, которые принесли социальные и революционные сдвиги в Европе. Этот язык складывался постепенно, но под пером Карамзина он совершил значительный шаг вперед. Декабристы приняли ка-

рамзинский язык с некоторыми коррективами, заимствованными у противников карамзинизма.

Деятельность Карамзина и Дмитриева содействовала переходу русской литературы из сферы двора, от воспевания господствующей государственной власти в сферу частной жизни и деятельности. Карамзин сознательно шел на поиски читателя вне придворного круга, на воспитание читателя разных сословий. В этом вопросе он продолжал новиковскую традицию, но осуществил свою задачу один, поскольку родники литературы русского просвещения после окончательного разгрома просветителей в первой половине 90-х годов XVIII столетия ушли под землю.

Карамзиным начинается, собственно говоря, широкое литературное направление, которое своей пассивной позицией по отношению к господствующей власти, своим отказом от оды и углублением в сферу частной жизни человека, несмотря на дворянский и аристократический характер эстетики карамзинского сентиментализма, сыграло прогрессивную роль.

Литература оставила царскую службу при Карамзине. В этом была заслуга карамзинизма, несмотря на все его недостатки. Деятельность Батюшкова, Жуковского, всей плеяды поэтов пушкинского времени и самого Пушкина уже не связана с идеями служения верховной власти. Карамзин как историограф был близок ко двору, но его лирика и повести, его литературные произведения были частным делом писателя. Как педагог, Жуковский служит при дворе, как поэт —

он отдает ему дань только несколькими стихотворениями, ни в какой мере не влиявшими на характер его поэзии.

Отделение литературы от государственной власти означало окончательное крушение классицизма и победу прогрессивных в эти годы новых буржуазных идей. При этом отчасти терялись высокие темы служения, идеи долга и героизма — государственные идеи, присущие литературе классицизма. Писатель уходил в тесный мир частной жизни. Но не следует забывать, что все высокие идеалы классицизма складывались в европейских условиях в интересах монархии. Это была литература защиты абсолютизма, и отказ от высоких идей этой литературы был явлением прогрессивным, рожденным всем ходом европейского развития. Русский дворянский сентиментализм под пером Карамзина и Дмитриева содействовал этому процессу огромной важности. Вот почему утверждение Белинского во второй статье о «Сочинениях Александра Пушкина» (1843) о том, что «Карамзиным началась новая эпоха русской литературы», несмотря на все необходимые ограничения, имеет свои глубокие основания.

А. Кучеров

Н. М. КАРАМЗИН

Часто здесь в юдоли мрачной
Слезы льются из очей;
Часто страждет и томится,
Терпит много человек.

Часто здесь ужасны бури
Жизни океан мятут;
Ладия наша крушится
Часто среди ярых волн.

Наслаждаясь, унываем;
Веселясь, слезы льем.
Что забава, то причина
Новая крушить себя.

На кусту здесь Филомела
Нежны песенки поет;
Ей внимая, воздыхаешь,
Вспомня, сколько беден ты.

Чем во внешности утехи
Чаще будешь ты искать,
Тем ты более постраждешь,
В жизни горечи найдешь.

Что в том нужды, что страдаешь
Ты почаству от себя?
Ты, страдая, смело можешь
Звать несчастливым тебя.

Но ты должен постараться
Скорби уменьшать свои,
Сколь возможешь утешаться,
Меньше мучить сам себя.

Впредь не думай, что случиться
Может страшного тебе;
Коль случилось, ободряйся;
Что прошло, позабывай.

Не ликуй ты при забавах,
Чтоб не плакать после их;
Чем кто более смеется,
Тем вздыхает чаще тот.

Ни к чему не прилепляйся
Слишком сильно на земле;
Ты здесь странник, не хозяин:
Всё оставить должен ты.

Будь уверен, что здесь счастье
Не живет между людей;
Что здесь счастьем называют,
То едина счастья тень.

ПОЭЗИЯ

(сочинена в 1787 году)

Die Lieder der göttlichen Harfenspieler
schallen mit Macht, wie beseelend.

*Klopstok*¹

Едва был создан мир огромный, велелепный,
Явился человек, прекраснейшая тварь,
Предмет любви творца, любовью рожденный;
Явился — весь сей мир приветствует его,
В восторге и любви, единою улыбкой.
Узрев собор красот и *чувствуя себя*,
Сей гордый мира царь почувствовал и бога,
Причину бытия — толь живо ощутил,¹
Величие творца, его премудрость, благость,
Что сердце у него в гимн нежный излилось,
Стремясь лететь к отцу... Поэзия святая!
Се ты в устах его, в источнике своем,
В высокой простоте! Поэзия святая!
Благословляю я рождение твое!

Когда ты, человек, в невинности сердечной,
Как роза цвел в раю, Поэзия тебе

¹ Песни божественных арфистов звучат с силой одухотворяющей. *Клопшток*. — *Ред.*

Утехою была. Ты пел свое блаженство,
Ты пел творца его. Сам бог тебе внимал,
Внимал, благословлял твои святые гимны:
Гармония была душою гимнов сих —
И часто ангелы в небесных мелодиях,
На лирах золотых, хвалили песнь твою.

Ты пал, о человек! Поэзия упала;
Но дщерь небес еще сияла лепотой,
Когда несчастный, вдруг раскаяся в грехе,
Молитвы воспевал — сидя на берегу
Журчащего ручья и слезы проливая,
В унынии, в тоске тебя воспоминал,
Тебя, эдемский сад! Почасту мудрый старец,
Среди сынов своих, внимающих ему,
Согласно, важно пел таинственные песни
И юных научал преданиям отцов.
Бывало иногда, что ангел ниспускался —
На землю, как эфир, и смертных наставлял
В Поэзии святой, небесною рукою
Настроив лиры им —

Живее чувства выражались,
Звучнее песни раздавались,
Быстрее мчались к творцу.

Столетия текли и в вечность погружались —
Поэзия всегда отрадою была
Невинных, чистых душ. Число их уменьшалось;
Но гимн царю царей вовек не умолкал —
И в самый страшный день, когда пылало небо
И бурные моря кипели на земли,

Среди пучин и бездн, с невиннейшим семейством
(Когда погибло всё) Поэзия спаслась.
Святой язык небес нередко унижался,
И смертные, забыв великого отца,
Хвалили вещество бездушных планеты!
Но был избранный род, который в чистоте
Поэзию хранил и ею просвещался.
Так славный, мудрый бард, древнейший
из певцов,

Со всею красотой священной сей науки
Воспел, как мир истек из воли божества.
Так оный муж святой, в грядущее проникший,
Пел миру часть его. Так царственный поэт,
Родившись пастухом, но в духе просвещенный,
Играл хвалы творцу и песнию своей
Народы восхищал. Так в храме Соломона
Гремела богу песнь!

Во всех, во всех странáх Поэзия святая
Наставницей людей, их счастьем была;
Везде она сердца любовью согревала.
Мудрец, Натуру зная, познав ее творца
И слыша глас его и в громах и в зефирах,
В лесах и на водах, на арфе подражал
Аккордам божества, и глас сего поэта
Всегда был божий глас!

Орфей, фракийский муж, которого вся древность
Едва не богом чтит, Поэзией смягчил
Сердца лесных людей, воздвигнул богу храмы
И диких научил всеильному служить.
Он пел им красоту Натуры, мирозданья:

Он пел им тот закон, который в естестве
Разумным оком зрим; он пел им человека,
Достоинство его и важный сан; он пел,

И звери дикие сбегались,
И птицы стаями слетались
Внимать гармонии его;
И реки с шумом устремлялись,
И ветры быстро обращались
Туда, где мчался глас его.

Омир в стихах своих описывал героев —
И пылкий юный грек, вникая в песнь его,
В восторге восклицал: «Я буду Ахиллесом!
Я кровь свою пролью, за Грецию умру!»
Дивиться ли теперь геройству Александра?
Омира он читал, Омира он любил. —
Софокл и Эврипид учили на театре,
Как душу возвышать и полубогом быть.
Бион, и Теокрит, и Мосхос воспевали
Приятность сельских сцен, и слушатели их
Пленялись красотой природы без искусства,
Приятностью села. Когда Омир поет,
Всяк воин, всяк герой; внимая Теокриту.
Оружие кладут — герой теперь пастух!
Поэзии сердца, все чувства — всё подвластно.

Как Сириус блестит светлее прочих звезд,
Так Августов поэт, так пастырь Мантуанский
Сиял в тебе, о Рим! среди твоих певцов.
Он пел, и всякий мнил, что слышит глас Омира;
Он пел, и всякий мнил, что сельский Теокрит



«Все башни, коих верх скрывается от глаз
В тумане облаков; огромные чертоги
И всякий гордый храм исчезнут, как мечта, —
В течение веков и места их не сыщем», —
Но ты, великий муж, пребудешь незабвен!¹

Мильтон, высокий дух, в гремящих страшных
песнях

Описывает нам бунт, гибель Сатаны;
Он душу веселит, когда поет Адама,
Живущего в раю; но, голос ниспустив,
Вдруг слезы из очей ручьями извлекает,
Когда поет его, подпадного греху.

О Йонг, несчастных друг, несчастных утешитель!
Ты бальзам в сердце льешь, сушишь источник
слез,

И, с смертию дружа, дружишь ты нас и с
жизнью!

Природу возлюбив, природу рассмотрев
И вникнув в круг времен, в тончайшие их тени,
Нам Томсон возгласил природы красоту,
Приятности времен. Натуры сын любезный,
О Томсон! век тебя я буду прославлять!

¹ Сам Шекспир сказал:

The cloud cap'd towers, the gorgeous palaces,
The solemn temples, the great globe itself,
Yea, all which it inherits, shall dissolve,
And, like the baseless fabric of a vision,
Leave not a wreck behind.

Какая священная меланхолия вдохнула в него эти стихи?

< Стихи из пьесы «Буря» Шекспира, перевод которых приведен в тексте стихотворения в кавычках. — Ред. >

Ты выучил меня природой наслаждаться
И в мрачности лесов хвалить творца ее!

Альпийский Теокрит, сладчайший песнопевец!
Еще друзья твои в печали слезы льют —
Еще зеленый мох не виден на могиле,
Скрывающей твой прах! В восторге пел ты нам
Невинность, простоту, пастушеские нравы
И нежные сердца свирелью восхищал.
Сию слезу мою, текущую толь быстро,
Я в жертву приношу тебе, Астреин друг!
Сердечную слезу и вздох и песнь поэта,
Любившего тебя, прими, благослови,
О дух, блаженный дух, здесь, в Геснере,
блиставший!¹

Несяся на крылах превыспренних орлов,
Которые певцов божественных славы
Мчат в вышние миры, да тему почерпнут
Для гимна своего, певец избранный Клопшток
Вознесся выше всех, и там, на небесах,
Был тайнам научен, и той великой тайне,
Как бог стал человек. Потом воспел он нам
Начало и конец Мессииных страданий,
Спасение людей. Он богом вдохновен —
Кто сердцем всем еще привязан к плоти, к миру
Того язык немей, и песней толь святых
Не оскверняй хвалой; но вы, святые мужи,
В которых уже глас земных страстей умолк,
В которых мрака нет! вы чувствуете цену

¹ Сии стихи прибавлены после.

Того, что Клопшток пел, и можете одни.
Во глубине сердец, хвалить сего поэта!
Так старец, отходя в блаженнейшую жизнь,
В восторге произнес: «О Клопшток

несравненный!»¹

Еще великий муж собою красит мир —
Еще великий дух земли сей не оставил.
Но нет! он в небесах уже давно живет —
Здесь тень мы зрим сего священного поэта.

О россы! век грядет, в который и у вас
Поэзия начнет сиять, как солнце в полдень.
Исчезла ноши мгла — уже Авроры свет
В *** блеснит, и скоро все народы
На север притекут светильник возжигать,
Как в баснях Прометей тек к огненному Фебу,
Чтоб хладный, темный мир согреть и осветить.

Доколе мир стоит, доколе человеки
Жить будут на земле, дотоле дщерь небес,
Поэзия, для душ чистейших благом будет.
Доколе я дышу, дотоле буду петь,
Поэзию хвалить и ею утешаться.
Когда ж умру, засну и снова пробужусь, —

Тогда, в восторгах погружаясь
И вечно, вечно наслаждаясь,
Я буду гимны петь творцу,
Тебе, мой бог, господь всесильный,
Тебе, любви источник дивный,
Узрев там всё лицом к лицу!

¹ Я читал об этом в одном немецком журнале.

К ДМИТРИЕВУ

«Многие барды, лиру настроив,
Смело играют, поют;
Звуки их лиры, гласы их песней
Мчатся по рощам, шумят.

Многие барды, тоны возвысив,
Страшные битвы поют;
В звуках их песней слышны удары,
Стон пораженных и смерть.

Многие барды, тоны унизив,
Сельскую радость поют —
Нравы невинных, кротких пастушек,
Вздохи, утехи любви.

Многие барды в шумном восторге
Нам воспевают вино,
Всех призывая им утоляти
Скуку, заботы, печаль.

Все ли их песни трогают сердце,
Душу приводят в восторг?
Все ли Омиры, Геснеры, Клейсты?
Где Анакрéон другой?

Мало осталось бардов великих! —
Так воспевая, вздохнул;
Слезы из сердца тихо катятся;
Лира упала из рук.

Быстро зephyры с Невского берега,
Быстро несутся ко мне —
Веют — вливают сладкие песни,
Нежные песни в мой слух...

Я восхищаюсь! — В радости сердца
Громко взываю, пою:
«Древние барды дух свой влияли
В нового барда Невы!»

ВЕСЕННЯЯ ПЕСНЬ МЕЛАНХОЛИКА

Зима свирепая исчезла,
Исчезли мразы, иней, снег;
И мрак, всё в мире покрывавший,
Как дым рассеялся, исчез.

Не слышим рева ветров бурных,
Страшивших странника в пути;
Не видим туч тяжелых, черных,
Текущих с севера на юг.

Весна с улыбкою приходит;
За нею следом мир течет.
На персях нежных Природы
Играет, рэзвится Зефир.

Дождь тихий с неба к нам лиется
И всё творение живит;
В полях все травы зеленеют,
И луг цветами весь покрыт.

Уже фиалка распустилась,
Смиренно под кустом цветет,
Амброзией питает воздух;
Не ждя похвал, благотворит.

На вѣтвях птички воспевают
Хвалу всещедрому творцу;
Любовь их песни соглашает,
Любовь сердца их веселит.

Овечки кроткие гуляют
И щиплют травку на лугах;
В сердцах любовь к творцу питают —
Без слов его благодарят.

Пастух играет на свирели,
Лежа беспечно на траве;
Питаюсь духом благовонным,
Он хвалит красоту весны.

Везде, везде сияет радость,
Везде веселие одно;
Но я, печалью отягченный,
Брожу уныло по лесам.

В лугах печаль со мною бродит.
Смотря в ручей, я слезы лью;
Слезами воду возмущаю,
Волную вздохами ее.

Творец премудрый, милосердый!
Когда придет весна моя,
Зима печали удалится,
Рассеется душевный мрак?

АНАКРЕОНТИЧЕСКИЕ СТИХИ

А. А. ПЕТРОВУ

Зефир прохладный веет,
И, Флору оставляя,
Зефир со мной играет,
Меня утешить хочет;
Печаль мою развеять
Намерен непременно.
Зефир! напрасно мыслишь
Меня развеселити,
Мне плакать не давая!
Ты в сердце не проникнешь,
Моя же горесть в сердце.
Но если ты намерен
Мне службу сослужити,
Лети, Зефир прекрасный,
К тому, который любит
Меня любовью нежной;
Лети в деревню к другу;
Найдя его под тенью
Лежащего покойно,
Ввей в слух его тихонько
Что ты теперь услышишь:

«Расставшись с тобою,
Чего не думал сделать?»

Рассматривал я присму,
Желая то увидеть,
Что Ню́тонову душу
Толико занимало,
Что Ню́тоново око
В восторге созерцало.
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что Ню́тонова дара
Совсем я не имею;
Что мне нельзя проникнуть
В состав чудесный света,
Дробить лучей седмичных
Великого светила. —
Я Ню́тона оставил.

Читая филосóфов,
Я вздумал филосóфом
Прослыть в ученом свете;
Схватив перо, бумагу,
Хотел писать я много
О том, как человеку
Себя счастливым сделать
И мудрым быть в сей жизни.
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что дух сих филосóфов
Во мне не обитает;
Что я того не знаю,
О чем писать намерен. —
Вздыхнув, перо я бросил.

Шатаюсь по рощам,
Внимая Филомеле,
Я Томсоном быть вздумал
И петь золотое лето;
Но, ах! мне надлежало
Тотчас себе признаться,
Что Томсонова гласа
Совсем я не имею,
Что песнь моя несносна. —
Вздыхнув, молчать я должен.

Теперь брожу я в поле,
Грущу и плачу горько,
Почувствуя, как мало
Талантов я имею». —
Зефир, Зефир прекрасный!
Лети в деревню к другу;
Найдя его под тенью
Лежащего покойно,
Ввей в слух его тихонько
Что ты теперь услышал.

1788 (?)

Я в бедности на свет родился
И в бедности воспитан был;
Отца в младенчестве лишился
И в свете сиротою жил.

Но бог, искусный в песнопеньи,
Меня, сиротку, полюбил;
Явился мне во сновиденьи
И арфу с ласкою вручил;

Открыл за тайну, как струною
С сердцами можно говорить
И томной, жалкою игрою
Всех добрых в жалость приводить.

Я арфу взял — ударил в струны;
Смотрю — и в сердце горя нет!..
Тому не надобно Фортуны,
Кто с Фебом в дружестве живет!

28 августа 1789

ВЫЗДОРОВЛЕНИЕ

Нежная мать Природа!
Слава тебе!
Снова твой сын оживает!
Слава тебе!

Сумрачны дни мои были.
Каждая ночь
Медленным годом казалась
Бедному мне.

Желчию облито было
Всё для меня;
Скука, уныние, горесть
Жили в душе.

Черная кровь возмущала
Ночи мои
Грозными, страшными снами,
Адской мечтой.

Томное сердце вздыхало
Ночью и днем.
Тронули мать Природу
Вздохи мои.

Перст ее, к сердцу коснувшись,
Кровь разжидил;
Взор ее светлый рассеял
Мрачность души.

Всё для меня обновилось;
Всем веселюсь:
Солнцем, зарею, звездами,
Ясной луной.

Сон мой приятен и кроток;
Солнечный луч
Снова меня призывает
К радостям дня.

13 декабря 1789

ОСЕНЬ

Веют осенние ветры
В мрачной дубраве;
С шумом на землю валятся
Желтые листья.

Поле и сад опустели;
Сетуют холмы;
Пение в рощах умолкло —
Скрылися птички.

Поздние гуси станицей
К югу стремятся,
Плавным полетом несяся
В горних пределах.

Вьются седые туманы
В тихой долине;
С дымом в деревне мешаясь,
К небу восходят.

Странник, стоящий на холме,
Взором унылым
Смотрит на бледную осень,
Томно вздыхая.

Странник печальный, утешься:
Вянет природа
Только на малое время;
Всё оживится,

Всё обновится весной;
С гордой улыбкой
Снова природа восстанет
В брачной одежде.

Смертный, ах! вянет навеки!
Старец весной
Чувствует хладную зиму
Ветхия жизни.

ГРАФ ГВАРИНОС

Древняя гишпанская историческая песня

Худо, худо, ах, французы,
В Ронцевале было вам!
Карл Великий там лишился
Лучших рыцарей своих.

И Гваринос был пойман
Многим множеством врагов;
Адмирала вдруг пленили
Семь арабских королей.

Семь раз жеребей бросают
О Гвариносе цари;
Семь раз сряду достается
Марлотесу он на часть.

Марлотесу он дороже
Всей Аравии большой.
«Ты послушай, что я молвлю,
О Гваринос! — он сказал, —

Ради Аллы, храбрый воин,
Нашу веру прими!
Всё возьми, чего захочешь,
Что приглянется тебе.

Дочерей моих обеих
Я Гвариносу отдам;
На любой из них женюсь,
А другую так возьми,

Чтоб Гвариносу служила,
Мыла, шила на него.
Всю Аравию приданым
Я за дочерью отдам».

Тут Гваринос слово молвил;
Марлотесу он сказал:
«Сохрани господь небесный
И Мария, мать его,

Чтоб Гваринос, христианин,
Магомету послужил!
Ах! во Франции невеста
Дорогая ждет меня!»

Марлотес, пришедши в ярость,
Грозным голосом сказал:
«Вмиг Гвариноса окуйте,
Нечестивого раба;

И в темницу преисподню
Засадите вы его.
Пусть гниет там понемногу
И умрет, как бедный червь!

Цепи тяжки, в семь сот фунтов,
Возложите на него,

От плеча до самой шпоры —
Страшен в гневѣ Марлотес!

А когда настанет праздник —
Пасха, Святки, Духов день, —
В кровь его тогда секите
Пред глазами всех людей».

Дни проходят, дни приходят,
И настал Иванов день;
Христиане и арабы
Вместе празднуют его.

Христиане сыплют галгант;¹
Мирты мечет всякий мавр.²
В почѣсть празднику заводит
Разны игры Марлотес.

Он высоко цель поставил,
Чтоб попасть в нее копьем.
Все свои бросают копья,
Все арабы метят в цель.

Ах, напрасно! нет удачи!
Цель для слабых высока.
Марлотес велел во гневѣ
Через герольда объявить:

«Детям груди не сосати,
А большим не пить, не есть,

¹ Индейское растение.

² В день св. Иоанна гишпанцы усыпали улицы галгантом и миртами.

Если цели сей на землю
Кто из мавров не сшибет!»

И Гваринос шум услышал
В той темнице, где сидел.
«Мать святая, чиста дева!
Что за день такой пришел?»

Не король ли ныне вздумал
Выдать замуж дочь свою?
Не меня ли сечь жестоко
Час презлой теперь настал?»

Страж темничный то подслушал.
«О Гваринос! свадьбы нет;
Ныне сечь тебя не будут;
Трубный звук не то гласит...

Ныне праздник Иоаннов;
Все арабы в торжестве.
Всем арабам на забаву
Марлотес поставил цель.

Все арабы копья мечут,
Но не могут в цель попасть;
Почему король во гневе
Чрез герольда объявил:

«Пить и есть никто не может,
Буде цели не сшибут».
Тут Гваринос встрепенулся;
Слово молвил он сие:

«Дайте мне коня и сбрую,
С коей Карлу я служил;
Дайте мне копье булатно,
Кoим я врагов разил.

Цель тотчас сшибу на землю,
Сколь она ни высока.
Если ж я сказал неправду,
Жизнь моя у вас в руках».

«Как! — на то тюремщик молвил, —
Ты семь лет в тюрьме сидел,
Где другие больше года
Не могли никак прожить;

И еще ты думать можешь,
Что сшибешь на землю цель? —
Я пойду сказать инфанту
Что теперь ты говорил».

Скоро, скоро спешает
Страж темничный к королю;
Приближается к инфанту
И приносит весть ему:

«Знай: Гваринос-христианин,
Что в тюрьме семь лет сидит,
Хочет цель сшибить на землю,
Если дашь ему коня».

Марлотес, сие услышав,
За Гвариносом послал;

Царь не думал, чтоб Гваринос
Мог еще конем владеть.

Он велел принести всю сбрую
И коня его сыскать.
Сбруя ржавчиной покрыта,
Конь возил семь лет песок.

«Ну, ступай! — сказал с насмешкой
Марлотес, арабский царь, —
Покажи нам, храбрый воин,
Как сильна рука твоя!»

Так, как буря разъяренна,
К цели мчится сей герой;
Мечет он копье булатно —
На земле вдруг цель лежит.

Все арабы взволновались,
Мечут копья все в него;
Но Гваринос, воин смелый,
Храбро их мечом сечет.

Солнца свет почти затмился
От великого числа
Тех, которые стремились
На Гвариноса все вдруг.

Но Гваринос их рассеял
И до Франции достиг,
Где все рыцари и дамы
С честью приняли его.

Жил-был в свете добрый царь,
Православный государь.
Все сердца его любили,
Все отцом и другом чтили.

Любит царь детей своих;
Хочет он блаженства их:
Сан и пышность забывает —
Трон, порфиру оставляет.

Царь как странник в путь идет
И обходит целый свет.
Посох есть ему — держава,
Все опасности — забава.

Для чего ж оставил он
Царский сан и светлый трон?
Для чего ему скитаться,
Хладу, зною подвергаться?

Чтоб везде добро собирать,
Душу, сердце украшать
Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами.

Для чего ж ему желать
Душу, сердце украшать

Просвещения цветами,
Трудолюбия плодами?

Чтобы мудростью своей
Озарить умы людей,
Чад и подданных прославить
И в искусстве жить наставить.

О Великий государь!
Первый, первый в свете царь! —
Всю вселенную пройдете,
Но другого не найдете.

Апрель 1790

К великолепию цари осуждены;
Мы требуем от них огромности блестящей,
Во изумление наш разум приводящей;
Как солнцем ею быть хотим ослеплены.

Июнь 1790

К ПРЕКРАСНОЙ

Где ты, Прекрасная, где обитаешь?
Там ли, где песни поет Филомела,
Кроткая ночи певица,
Сидя на миртовой ветви?

Там ли, где с тихим журчаньем стремится
Чистый ручей по зеленому лугу,
Душу мою призывая
К сладкой дремоте покоя?

Там ли, где юная, пышная роза,
Утром кропимая, нежно алеет,
Скромно с Зефиром лобзаясь,
Сладостью воздух питая?

Там ли, где солнечный луч освещает
Гор неприступных хребет разноцветный,¹
Где обитали издревле
Высшие силы и боги?

¹ Когда в хороший вечер перед заходом солнца из некоторого отдаления смотришь на высокие, снегом покрытые горы, то верхи их кажутся разноцветными.

Глас твой божественный часто внимаю;
Часто сквозь облако образ твой вижу,
 Руки к нему простираю —
 Облако, воздух объемлю!

1791

ВЕСЕЛЫИ ЧАС

Братья, рюмки наливайте!
Лейся через край вино!
Всё до капли выпивайте!
Осушайте в рюмках дно!

Мы живем в печальном мире;
Всякий горе испытал,
В бедном рубище, в порфире, —
Но и радость бог нам дал.

Он вино нам дал на радость,
Говорит святой мудрец:
Старец в нем находит младость,
Бедный — горестям конец.

Кто всё плачет, всё вздыхает,
Вечно смотрит сентябрем, —
Тот науки жить не знает
И не видит света днем.

Всё печальное забудем,
Что смущало в жизни нас;
Петь и радоваться будем
В сей приятный, сладкий час!

Да светлеет сердце наше,
Да сияет в нем покой,
Как вино сияет в чаше,
Осребряемо луной!

1791

РАИСА

Древняя баллада

Во тьме ночной ярилась буря;
Сверкал на небе грозный луч;
Гремели громы в черных тучах,
И сильный дождь в лесу шумел.

Нигде не видно было жизни;
Сокрылось всё под верный кров.
Раиса, бедная Раиса,
Скиталась в темноте одна.

Нося отчаяние в сердце,
Она не чувствует грозы,
И бури страшный вой не может
Ее стенаний заглушить.

Она бледна, как лист увядший,
Как мертвый цвет уста ее;
Глаза покрыты томным мраком,
Но сильно бьется сердце в ней.

С ее открытой белой груди,
Язвимою ветвями дерев,
Текут ручьи кипящей крови
На зелень влажных земли.

Над морем гордо возвышался
Хребет гранитных горы;
Между стремнин, по камням острым
Раиса всходит на него.

(Тут бездна яростно кипела
При блеске огненных лучей;
Громады волн неслися с ревом,
Грозя всю землю потопить.)

Она взирает, умолкает;
Но скоро жалкий стон ея
Смешался вновь с шумящей бурей:
«Увы! увы! погибла я!

Кронид, Кронид, жестокий, милый!
Куда ушел ты от меня?
Почто Раису оставляешь
Одну среди ужасной тьмы?

Кронид! поди ко мне! Забуду,
Забуду всё, прошу тебя!
Но ты нейдешь к Раисе бедной!..
Почто тебя узнала я?

Отец и мать меня любили,
И я любила нежно их;
В невинных радостях, в забавах
Часы и дни мои текли.

Когда ж явился ты, как ангел,
И с нежным вздохом мне сказал:

«Люблю, люблю тебя, Раиса!» —
Забывала я отца и мать.

В восторге, с трепетом сердечным
И с пламенной слезой любви
В твои объятия упала
И сердце отдала тебе.

Душа моя в твою вселилась,
В тебе жила, дышала я;
В твоих глазах свет солнца зрела;
Ты был мне образ божества.

Почто я жизни не лишилась
В объятиях твоей любви?
Не зрела б я твоей измены,
И счастлив был бы мой конец.

Но рок судил, чтоб ты другую
Раисе верной предпочел;
Чтоб ты меня навек оставил,
Когда сном крепким я спала,

Когда мечтала о Крониде
И мнила обнимать его!
Увы! я воздух обнимала...
Уже далеко был Кронид!

Мечта исчезла, я проснулась;
Звала тебя, но ты молчал;
Искала взором, но не зрела
Тебя нигде перед собой.

На холм высокий я спешила...
Несчастливая!.. Кронид вдали
Бежал от глаз моих с Людмилой!
Без чувств тогда упала я.

С сея ужасныя минуты
Крушусь, тоскую день и ночь;
Ищу везде, зову Кронида, —
Но ты не хочешь мне внимать.

Теперь злосчастливая Раиса
Звала тебя в последний раз...
Душа моя покоя жаждет...
Прости!.. Будь счастлив без меня!»

Сказав сии слова, Раиса
Низверглась в море. Грянул гром:
Сим небо возвестило гибель
Тому, кто погубил ее.

1791

КЛАДБИЩЕ

Один голос

Страшно в могиле, хладной и темной!
Ветры здесь воют, гробы трясутся,
Белые кости стучат.

Другой голос

Тихо в могиле, мягкой, покойной.
Ветры здесь веют; спящим прохладно;
Травки, цветочки растут.

Первый

Червь кровоглавый точит умерших,
В черепаках желтых жабы гнездятся,
Змии в крапиве шипят.

Второй

Крепок сон мертвых, сладостен, кроток;
В гробе нет бури; нежные птички
Песнь на могиле поют.

Первый

Там обитают черные враны,
Алчные птицы; хищные звери
С ревом копают в земле.

В т о р о й

Маленький кролик в травке зеленой
С милой подружкой там отдыхает;
Голубь на веточке спит.

П е р в ы й

Сырость со мглою, густо мешаясь,
Плавают тамо в воздухе душном;
Древо без листьев стоит.

В т о р о й

Тамо струится в воздухе светлом
Пар благовонный синих фиалок,
Белых ясминов, лилей.

П е р в ы й

Странник боится мертвой юдоли;
Ужас и трепет чувствуя в сердце,
Мимо кладбища спешит.

В т о р о й

Странник усталый видит обитель
Вечного мира — посох бросая,
Там остается навек.

К МИЛОСТИ ¹

Что может быть тебя святее,
О Милость, дочь благих небес?
Что краше в мире, что милее?
Кто может без сердечных слез,
Без радости и восхищенья,
Без сладкого в крови волненья
Взирать на прелести твои?

Какая ночь не озарится
От солнечных твоих очей?
Какой мятеж не укротится
Одной улыбкою твоей?
Речешь — и громы онемеют;
Где ступишь, там цветы алеют
И с неба льется благодать.

Любовь твои стопы лобзает
И нежной матерью зовет;
Любовь тебя на трон венчает
И скиптр в десницу подает.
Текут, текут земные роды,
Как с гор высоких быстры воды,
Под сень державы твоя.

¹ Писано в царствование Екатерины.

Блажен, блажен народ, живущий
В пространной области твоей!
Блажен певец, тебя поющий
В жару, в огне души своей!
Доколе Милостию будешь,
Доколе права не забудешь,
С которым человек рожден;

Доколе гражданин довольный
Без страха может засыпать
И дети-подданные вольны
По мыслям жизнь располагать,
Везде природой наслаждаться,
Везде наукой украшаться
И славить прелести твои;

Доколе злоба, дочь Тифона,
Пребудет в мрак удалена
От светло-золотого трона;
Доколе правда не страшна
И чистый сердцем не боится
В своих желаниях открыться
Тебе, владычице души;

Доколе всем даешь свободу
И света не темнишь в умах;
Пока доверенность к народу
Видна во всех твоих делах, —
Доколе будешь свято чтима,
От подданных боготворима
И славима из рода в род.

Спокойствия твоей державы
Ничто не может возмутить;
Для чад твоих нет большей славы,
Как верность к матери хранить.
Там трон вовек не потрясется,
Где он любовью брежется
И где на троне — ты сидишь.

1792

ПРИНОШЕНИЕ ГРАЦИЯМ

Любезные душе чувствительной и нежной,
Богини дружества,¹ утехи безмятежной!
Вы, кои в томну грудь — под мраком черных туч
Ужасныя грозы, носящейся над нами
В юдоли жизни сей, — лиете светлый луч
От взора своего и белыми руками,
С улыбкой на устах, сушите реки слез,
Текущие из глаз, печалью отягченных!
Богини кроткие, любимицы небес,
Подруги нежных муз и всех красот нетленных!
Вы, кои в миртовых и розовых венках,
Обнявшись, ходите по рощам и долинам,
По бархатным лугам, фиалкам и ясминам,
Цветущий образ свой являете в ручьях,
Приветствуете нимф, в источниках живущих,
И мирных пастухов, красу весны поющих!
О вы, которых вся земля боготворит
И счастливый мудрец и дикий свято чтит;
Которым вместо жертв и вместо фимиама
Приносятся сердца; которым вместо храма
Пространный служит мир; без коих красота

¹ Древние при алтаре граций заключали союзы дружества.

Не может нас пленять, и самая природа
Была бы без души, печальна и пуста;
Без коих жизнь мертва, не сладостна свобода,
Не ясен солнца свет и сердцу нет отрад;
Которых прелести божественный Сократ
Искусною рукой на мраморе представил¹
И новый Теокрит² на стройной лире славил!
Богини милые! благословите сей
Свободный плод моих часов уединенных,
Природе, тишине и музам посвященных!
Вручаю вам его, сей дар души моей.
С улыбкою любви, небесные, примите
Что вам дарит любовь; улыбкой освятите
Сплетенный мной венок из белых тубероз,
Из свежих ландышей, из юных алых роз:
Для вас одних сплетен он чистою рукою.
Но, ах! на нем слеза... Простите мне ее:
Я друга потерял!.. Пред вами ль грусть сокрою,
Прискорбие души, уныние мое?
Ах, нет! от вас я жду, любезных, утешенья,
Луча во мрачности и в горе услажденья!..
Примите малый дар — клянуся вас любить,
Богини милые, доколе буду жить!

1793

¹ Известно, что Сократ изваял образ граций.

² Геснер.

К СОЛОВЬЮ

Пой во мраке тихой роши,
Нежный, кроткий соловей!
Пой при свете лунной ночи!
Глас твой мил душе моей.
Но почто ж рекой катятся
Слезы из моих очей,
Чувства ноют и томятся
От гармонии твоей?
Ах! я вспомнил незабвенных,
В недрах хладных земли
Хищной смертью заключенных;
Их могилы заросли
Все высокою травюю.
Я остался сиротою...
Я остался в горе жить,
Тосковать и слезы лить!..
С кем теперь мне наслаждаться
Нежной песнью твоей?
С кем природой утешаться?
Всё печально без друзей!
С ними дух наш умирает,
Радость жизни отлетает;

Сердцу скучно одному —
Свет пустыня, мрак ему.

Скоро ль песню свою,
О любезный соловей,
Над могилою моею
Будешь ты пленять людей?

1793

СТРАННОСТЬ ЛЮБВИ, ИЛИ БЕССОННИЦА

Кто для сердца всех страшнее?
Кто на свете всех милее?
Знаю: милая моя!

«Кто же милая твоя?»
Я стыжусь; мне, право, больно
Странность чувств моих открыть
И предметом шуток быть.
Сердце в выборе не вольно!..
Что сказать? Она... она...
Ах! нимало не важна
И талантов за собою
Не имеет никаких;
Не блистает острою,
И движеньем глаз своих
Не умеет изъясняться;
Не умеет восхищаться
Аполлоновым онем;
Философов не читает
И в невежестве своем
Всю ученость презирает.
Знайте также, что она
Не Венера красотой —

Так худа, бледна собою,
Так эфирна и томна,
Что без жалости не можно
Бросить взора на нее.
Странно! .. я люблю ее!

«Что ж такое думать должно?
Уверяют старики
(В этом деле знатоки),
Что любовь любовь рождает, —
Сердце нравится любя:
Может быть, она пленяет
Жаром чувств своих тебя;
Может быть, она на свете
Не имеет ничего
Для души своей в предмете,
Кроме сердца твоего?
Ах! любовь и страсть такая
Есть небесная, святая!
Ум блестящий, красота
Перед нею суета».

Нет! .. К чему теперь скрываться?
Лучше искренно признаться
Вам, любезные друзья,
Что жестокая моя
Нежной, страстной не бывала
И с любовью на меня
Глаз своих не устремляла.
Нет в ее душе огня!
Тщетно пламенем пылаю —
В милом сердце лед, не кровь!

Так, как Эхо,¹ иссыхаю —
Нет ответа на любовь!

Очарован я тобою,
Бог, играющий судьбою,
Бог коварный — Купидон!
Ядовитою стрелою
Ты лишил меня покою.
Как ужасен твой закон,
Мудрых мудрости лишая
И ученых кабинет
В жалкий Бэдлам² превращая,
Где безумие живет!
Счастлив, кто не знает страсти!
Счастлив хладный человек,
Не любивший весь свой век! ..
Я завидую сей части
И с Титанией люблю
Всем насмешникам в забаву...³
По небесному уставу
Днем зеваю, ночь не сплю.

1793

¹ Т. е. нимфа, которая от любви к Нарциссу превратилась в ничто и которой вздохи слышим мы иногда в лесах и пустынях и называем эхом.

² Дом сумасшедших в Лондоне.

³ Любопытные могут прочитать третье действие, вторую сцену Шекспировой пьесы „Midsummer-night's dream“ <Сон в летнюю ночь>.

Законы осуждают
Предмет моей любви;
Но кто, о сердце, может
Противиться тебе?

Какой закон святее
Твоих врожденных чувств?
Какая власть сильнее
Любви и красоты?

Люблю — любить ввек буду.
Кляните страсть мою,
Безжалостные души,
Жестокие сердца!

Священная Природа!
Твой нежный друг и сын
Невинен пред тобою.
Ты сердце мне дала;

Твои дары благие
Украсили ее, —
Природа! ты хотела,
Чтоб Лилу я любил!

Твой гром гремел над нами,
Но нас не поражал.

Когда мы наслаждались
В объятиях любви.

О Борнгольм, милый Борнгольм!
К тебе душа моя
Стремится беспрестанно;
Но тщетно слезы лью,

Томлюся и вздыхаю!
Навек я удален
Родительскою клятвой
От берегов твоих!

Еще ли ты, о Лила,
Живешь в тоске своей?
Или в волнах шумящих
Скончала злую жизнь?

Явися мне, явися,
Любезнейшая тень!
Я сам в волнах шумящих
С тобою погребусь.

ПЕСНЬ САФИНА

Почто, о бог любви коварный,
Ты грудь мою стрелой пронзил?
Почто Фаон неблагодарный
Меня красой своей пленил?

Почто? — Фаон не знает страсти,
Фаон не ведает любви,
Ее над сердцем лютой власти,
Огня, волнения в крови!

Когда на юношу взираю,
Мрачится свет в моих глазах —
Дрожу, томлюся, умираю
В восторге, в пламенных слезах! ¹

Мне всё противно, всё постыло,
Когда сокроется Фаон;
Брожу в лесах одна уныло, —
Зрю тьму везде и слышу стон.

Жестокий Сафою сучает:
Ему несносен взор ея.

¹ Читатель вспомнит последнюю строфу известной Сафиной оды.

Жестокий Сафы убегает:
Ему несносна жизнь моя!

На что же мне вздыхать, томиться?
Любовь злосчастная есть ад.
Иду от страсти исцелиться
В твоих пучинах, о Левкад!¹

Пусть жизнь с любовью прекратится
В шумящих пенистых волнах:
Река забвения струится
В блаженных Орковых странах.²

Ее питательные воды
Жар груди, сердца прохладят,
И счастье мирных свобод
Невинной Сафе возвратят.

Я там жестокого забуду,
Как утром забывают сон...
О радость!.. я любить не буду
Тебя, безжалостный Фаон!

¹ Древние греки думали, что несчастные любовники, бросаясь в море с Левкадской скалы, исцеляются от своей страсти; многие бросались и — погибали.

² Мифология говорит, что в странах Орковых, то есть в жилище мертвых, течет Лета, *река забвения*. Души умерших прежде всего к ней провождаются — пьют с жадностью воду ее и забывают все горести земной жизни. Прекрасная выдумка! и много таких найдем мы в греческой мифологии.

Невидимый хор
Погибает!.. Погибает!..
Бездна Сафу поглощает!
Лира Сафина в волнах —
Нет души в ее струнах!
Жертва страсти, не порока!
Жертва бедственного рока!
Дар небесный, сладкий глас,
От судьбы тебя не спас!

СМЕРТЬ ОРФЕЕВА

Нимфы, плачьте! Нет Орфея! . .
Ветр унылый, тихо вея,
Нам вещает: «Нет его!»
Ярость фурий испуганных,
Гнусной страстью воспаленных,
Прекратила жизнь того,
Кто пленял своей игрою
Кровожадных зверей,
Гармонической струною
Трогал сердце лютых грей
И для нежной Эвридики
В тартар мрачный нисходил.
Ах, стенайте! — берег дикий
Прах его в себя вместил.
Сиротеющая лира
От дыхания зефира
Звук печальный издает:
«Нет певца! Орфея нет!»
Эхо повторяет: нет!
Над могилою священной,
Мягким дерном покровенной,
Филомела слезы льет.

1793

ПОСЛАНИЕ К ДМИТРИЕВУ
В ОТВЕТ НА ЕГО СТИХИ, В КОТОРЫХ ОН ЖАЛУЕТСЯ НА
СКОРОТЕЧНОСТЬ СЧАСТЛИВОЙ МОЛОДОСТИ

Конечно так, — ты прав, мой друг!
Цвет счастья скоро увядает,
И юность наша есть тот луг,
Где сей красавец расцветает.
Тогда в эфире мы живем
И нэктар сладостный прием
Из полной олимпийской чаши;
Но жизни алая весна
Есть миг — увы! пройдет она,
И с нею мысли, чувства наши
Лишатся свежести своей.
Что прежде душу веселило,
К себе с улыбкою манило,
Не мило, скучно будет ей.
Надежды и мечты златые,
Как птички, быстро улетят,
И тени хладные, густые
Над нами солнце затемнят, —
Тогда, подобно Иксиону,
Не милую свою Юону,
Но дым увидим пред собой! ¹

¹ Известно из мифологии, что Иксион, желая обнять Юону, обнял облако и дым.

И я, о друг мой, наслаждался
Своею красною весной;
И я мечтами обольщался —
Любил с горячностью людей,
Как нежных братий и друзей;
Желал добра им всей душою;
Готов был кровию моею
Пожертвовать для счастья их
И в самых горестях своих
Надеждой сладкой веселился
Небесполезно жить для них —
Мой дух сей мыслию гордился!
Источник радостей и благ
Открыть в чувствительных душах;
Пленить их истиной святою,
Ее нетленной красотой;
Орудием небесным быть
И в памяти потомства жить
Казалось мне всего славнее,
Всего прекраснее, милее!
Я жребий свой благословлял,
Любуясь прелестью награды, —
И тихий свет моей лампы
С звездой утра угасал.
Златое дневное светило
Примером, образцом мне было...
Почто, почто, мой друг, не век
Обманом счастлив человек?

Но время, опыт разрушают
Воздушный замок юных лет;
Красы волшебства исчезают...

Теперь иной я вижу свет, —
И вижу ясно, что с Платоном
Республик нам не учредить,
С Питтáком, Фáлесом, Зеноном
Сердец жестоких не смягчить.
Ах! зло под солнцем бесконечно,
И люди будут — люди вечно.
Когда несчастных Данаид¹
Сосуд наполнится водою,
Тогда, чудесною судьбою,
Наш шар примет лучший вид:
Сатурн на землю возвратится
И тигра с агнцем помирит;
Богатый с бедным подружится
И слабый сильного простит.
Дотоле истина опасна,
Одним скучна, другим ужасна;
Никто не хочет ей внимать,
И часто яд тому есть плата,
Кто гласом мудрого Сократа
Дерзает буйству угрожать.
Гордец не любит наставленья,
Глупец не терпит просвещенья —
Итак, лампаду угасим,
Желая доброй ночи им.

Но что же нам, о друг любезный,
Осталось делать в жизни сей,
Когда не можем быть полезны,

¹ Они в подземном мире льют беспрестанно воду в худой сосуд.

Не можем пременить людей?
Оплакать бедных смертных долю
И мрачный свет предать на волю
Судьбы и рока: пусть они,
Сим миром правя искони,
И впредь творят что им угодно!
А мы, любя дышать свободно,
Себе построим тихий кров
За мрачной сению лесов,
Куда бы злые и невежды
Вовек дороги не нашли
И где б, без страха и надежды,
Мы в мире жить с собой могли,
Гнушаться издали пороком
И ясным, терпеливым оком
Взирать на тучи, вихрь сует,
От грома, бури укрываясь
И в чистом сердце наслаждаясь
Мерцанием вечерних лет,
Остатком теплых дней осенних.
Хотя уж нет цветов весенних
У нас на лицах, на устах
И юный огонь погас в глазах;
Хотя красавицы престали
Меня любезным называть
(Зефиры с нами отыграли!),
Но мы не должны унывать:
Живем по общему закону! . .
Отелло в старости своей
Пленил младую Дездемону ¹

¹ Смогри Шекспирову трагедию «Отелло».

И вкрался тихо в сердце к ней
Любознательных муз прелестным даром.
Он с нежным, трогательным жаром
В картинах ей изображал,
Как случай в жизни им играл;
Как он за дальними морями,
Необозримыми степями,
Между ревуших, пенных рек,
Среди лесов густых, дремучих,
Песков горящих и сыпучих,
Где люди не бывали век,
Бесстрашно в юности скитался,
Со львами, тиграми сражался,
Терпел жестокий зной и холод,
Терпел усталость, жажду, глад.
Она внимала, удивлялась;
Брала участие во всем;
В опасность вместе с ним вдавлялась
И в нежном пламени своем,
С блестящею в очах слезою,
Сказала: «Я люблю тебя!»
И мы, любезный друг, с тобою
Найдем подружку для себя,
Подругу с милою душою,
Она приятностью своею
Украсит запад наших дней.
Беседа опытных людей,
Их басни, повести и были
(Нас лета сказкам научили!)
Ее внимание займут,
Ее любовь приобретут.
Любовь и дружба — вот чем можно

Себя под солнцем утешать!
Искать блаженства нам не должно,
Но должно — менее страдать;
И кто любил, кто был любимым,
Был другом нежным, другом чтимым,
Тот в мире сем недаром жил,
Недаром землю бременил.

Пусть громы небо потрясают,
Злодеи слабых угнетают,
Безумцы хвалят разум свой!
Мой друг! не мы тому виной.
Мы слабых здесь не угнетали
И всем ума, добра желали:
У нас не черные сердца!
И так без трепета и страха
Нам можно ожидать конца
И лечь во гроб, жилище праха.
Завеса вечности страшна
Убийцам, кровью обогранным,
Слезами бедных орошенным.
В ком дух и совесть без пятна,
Тот с тихим чувствием встречает
Златую Фебову стрелу,¹
И ангел мира освещает
Пред ним густую смерти мглу.
Там, там, за синим океаном,
Вдали, в мерцании багряном,
Он зрит. . . но мы еще не зрим.

1794

¹ Древние поэты говорили, что златая Фебова стрела приносит смерть человеку.

**ПОСЛАНИЕ
К АЛЕКСАНДРУ АЛЕКСЕЕВИЧУ
ПЛЕЩЕЕВУ**

Мой друг! вступая в шумный свет
С любезной, искренней душою,
В весеннем цвете юных лет,
Ты хочешь с музою моею
В свободный час поговорить
О том, чего все ищут в свете;
Что вечно у людей в предмете;
О чем позволено судить
Ученым, мудрым и невежде,
Богатым в золотой одежде
И бедным в рубище худом,
На тронах, славой окруженных,
И в сельских хижинах смиренных;
Что в каждом климате земном
Надежду смертных составляет,
Сердца всечасно обольщает,
Но, ах! .. не зримо ни в одном!

О счастья слово. Удалимся
Под ветви сих зеленых ив;
Прохладой чувства освежив,

Мы там беседой насладимся
В любезной музам тишине.¹

Мой друг! согласишься ли ты мне,
Чтоб десять тысяч было мнений,
Ученых философских прений,
В архивах древности седой²
О средствах жить счастливо в свете,
О средствах обрести покой?
Но точно так, мой друг; в сем счете
Ошибки нет. Фалес, Хилон,
Питтак, Эпименид, Критон,
Бионы, Симмии, Стильпоны,
Эхины, Эммии, Зеноны,
В лицее, в храмах и садах,
На бочках, темных чердаках
О благе вышнем говорили
И смертных к счастью манили
Своею... нищенской клюкой,
Клянясь священной бородой,
Что плод земного совершенства
В саду их мудрости растет;
Что в нем нетленный цвет блаженства,
Как роза пышная, цветет.
Слова казались прекрасны,
Но только были несогласны.

¹ Сии стихи писаны в самом деле под тению ив.

² Десять тысяч! Читатель может сомневаться в верности счета; но один из древних же авторов пишет, что их было точно десять тысяч.

Один кричал: ступай туда!
Другой: нет, нет, поди сюда!
Что ж греки делали? Смеялись;
Ученой распрей забавлялись,
А счастье... называли сном!

И в наши времена о том
Бывает много шуму, спору.
Не мало новых гордецов,
Которым часто без разбору
Дают название мудрецов;
Они нам также обещают
Открыть прямой ко счастью след;
В глаза же счастья не знают;
Живут, как все, под игом бед;
Живут, и горькими слезами
Судьбе тихонько платят сами
За право умниками слыть,
О счастье в книгах говорить!

Престанем льстить себя мечтою,
Искать блаженства под луною!
Скорее, друг мой, ты найдешь
Чудесный философский камень,
Чем век без горя проживешь.
Япетов сын эфирный пламень
Похитил для людей с небес,
Но счастья к ним он не принес;
Оно в удел нам не досталось
И там, с Юпитером, осталось.
Вздыхай, тужи; но пользы нет!
Судьбы рекли: «Да будет свет

Жилищем призраков, сует,
Немногих благ и многих бед!»
Рекли — и суеты спустились
На землю шумною толпой:
Герои в латы нарядились,
Пленясь Славы красотой;
Мечом махнули, полетели
В забаву умерщвлять людей;
Одни престолов захотели,
Другие самых алтарей;
Одни шумящими рулями
Рассекли пену дальних вод;
Другие мощными руками
Отверзли в землю темный ход,
Чтоб взять пригоршни светлой пыли!..
Мечты всем головы вскружили,
А горесть врезалась в сердца.
Народов сильных победитель
И стран бесчисленных властитель
Под блеском светлого венца
В душевном мраке унывает,
И часто сам того не знает,
На что величия желал
И кровью лавры омочал!
Смельчак, Америку открывший,
Пути ко счастью не открыл;
Индейцев в цепи заключивший
Цепями сам окован был,
Провел и кончил жизнь в страданье, —
А сей вздыхающий скелет,
Который богом чтит стяжанье,
Среди богатств в тоске живет!..

Но кто, мой друг, в морской пучине
Глазами волны перечтет?
И кто представит нам в картине
Ничтожность всех земных сует?

Что ж делать нам? Ужель сокрыться
В пустыню Муромских лесов,
В какой-нибудь безвестный кров,
И с миром навсегда проститься,
Когда, к несчастью, мир таков?
Увы! Анахорет не будет
В пустыне счастливее нас!
Хотя земное и забудет;
Хотя умолкнет страсти глас
В его душе уединенной,
Безмолвным мраком огражденной,
Но сердце станет унывать,
В груди холодной тосковать,
Не зная, чем ему заняться.
Тогда пустынною явятся
Химеры, адские мечты,
Плоды душевной пустоты!
Чудовищ грозных миллионы,
Змеи летучие, драконы
Над ним крылами зашумят
И страхом ум его затмят...¹
В тоске он жизнь свою скончает!

Каков ни есть подлунный свет,
Хотя блаженства в оном нет,

¹ Многие пустынноики, как известно, сходили с ума в уединении.

Хотя в нем горесть обитает, —
Но мы для света рождены,
Душой, умом одарены
И должны в нем, мой друг, остаться.
Чем можно будем наслаждаться,
Как можно менее тужить,
Как можно лучше, тише жить,
Без всяких суетных желаний,
Пустых, блестящих ожиданий;
Но что приятное найдем,
То с радостью себе возьмем.
В лесах унылых и дремучих
Бывает краше анемон,
Когда украдкой выдет он
Один среди песков сыпучих;
Во тьме густой, в печальной мгле
Сверкнет луч солнца веселее:
Добра не много на земле,
Но есть оно — и тем милее
Ему быть должно для сердец.
Кто малым может быть доволен,
Не скован в чувствах, духом волен,
Не есть чинов, богатства льстец;
Душою так же прям, как станом;
Не ищет благ за океаном
И с моря кораблей не ждет,
Шумящих ветров не робеет,
Под солнцем домик свой имеет,
В сей день для дня сего живет
И мысли в даль не простирает;
Кто смотрит прямо всем в глаза;
Кому несчастного слеза

Отравы в пищу не вливает;
Кому работа не трудна,
Прогулка в поле не скучна
И отдых в знойный час любезен;
Кто ближним иногда полезен
Рукой своей или умом;
Кто может быть приятным другом,
Любимым, счастливым супругом
И добрым милых чад отцом;
Кто муз от скуки призывает
И нежных граций, спутниц их;
Стихами, прозой забавляет
Себя, домашних и чужих;
От сердца чистого смеется
(Смеяться, право, не грешно!)
Над всем, что кажется смешно, —
Тот в мире с миром уживется
И дней своих не прекратит
Железом острым или ядом;
Тому сей мир не будет адом;
Тот путь свой розой оцветит
Среди колючих жизни терний,
Отраду в горестях найдет,
С улыбкой встретит час вечерний
И в полночь тихим сном заснет.

К НЕЙ

Тебе ли думать, друг бесценный,
Что есть изменники в любви?
Огонь, тобою воспаленный,
Погаснет ли когда в крови?
Погаснет с жизнью, не прежде!

И мне ль непостоянным быть?
Мне ль пóрхать бабочкой, в надежде
Другую более любить?
Я всех неверных презираю
И с ними наш холодный век.
Как может в жизни человек
Два раза быть влюблен, не знаю:
Не станет сердца, милый друг,
И сила в чувствах ослабеет.
Однажды роза в год алеет,
Однажды красится ей луг;
Однажды любим всей душою —
Чтоб счастье райское вкусить
Или глаза навек закрыть
Со вздохом горести, с тоскою!

1794

ИЛЬЯ МУРОМЕЦ

Богатырская сказка ¹

Le monde est vieux, dit-on: je le crois; cependant
Il le faut amuser encore comme un enfant.

La Fontaine

Часть первая

Не хочу с поэтом Греции
звучным гласом Каллиопиным
петь вражды Агамемноновой
с храбрым правнуком Юпитера;
или, следуя Виргилию,
плыть от Трои разоренная
с хитрым сыном Афродитиным
к злачным берегам Италии.
Не желаю в мифологии
черпать дивных, странных вымыслов.

¹ Вот начало безделки, которая занимала нынешним летом уединенные часы мои. Продолжение остается до другого времени; конца еще нет, — может быть, и не будет. В рассуждении меры скажу, что она совершенно русская. Почти все наши старинные песни сочинены такими стихами.

² Говорят, человечество старо; я этому верю; и все же его приходится развлекать, как ребенка. *Лафонтен.* — *Ред*

Мы не греки и не римляне;
мы не верим их преданиям;
мы не верим, чтобы бог Сатурн
мог любезного родителя
превратить в уroda жалкого;
чтобы Леды были — курицы
и несли весною яйца;
чтобы Пóллуксы с Еленами
родилíсь от белых лебедей.
Нам другие сказки надобны;
мы другие сказки слышали
от своих покойных мамушек.
Я намерен слогом древности
рассказать теперь одну из них
вам, любезные читатели,
если вы в часы свободные
удовольствие находите
в русских баснях, в русских повестях,
в смеси былей с небылицами,
в сих игрушках мирной праздности,
в сих мечтах воображения.
Ах! не всё нам горькой истиной
мучить томные сердца свои!
ах! не всё нам реки слезные
лить о бедствиях существенных!
На минуту позабудемся
в чародействе красных вымыслов!

Не хочу я на Парнас идти;
нет! Парнас гора высокая,
и дорога к ней не гладкая.
Я видал, как наши витязи,

наши стих-рифмоделители,
упиваясь одопением,
лезут на вершину Пиндову,
обступаются и вниз летят.
не с венцами и не с лаврами,
но с ушами (ах!) ослиными,
для позорища насмешникам!
Нет, любезные читатели!
я прошу вас не туда с собой.
Близ моей смиренной хижины,
на берегу реки прозрачная
роща древняя, дубовая
нас укроет от лучей дневных.
Там мой дедушка на старости
в жаркий полдень отдыхал всегда
на коленях милой бабушки;
там висит его пернатый шлем;
там висит его булатный меч,
коим он врагов отечества
за гордыню их наказывал
(кровь турецкая и шведская
и теперь еще видна на нем).
Там я сяду на берегу реки
и под тенью древ развесистых
буду повесть вам рассказывать.
Там вы можете тихохонько,
если скучно вам покажется,
раз два зевнув, сомкнуть глаза.

Ты, которая в подсолнечной
всюду видима и слышима;
ты, которая, как бог Протей,

всякий образ на себя берешь,
всяким голосом умеешь петь,
удивляешь, забавляешь нас, —
всё вещаешь, кроме. . . истины;
объявляешь с газетирами
сокровенности политики;
сочиняешь с стихотворцами
знатным похвалы прекрасные;
величаешь Пантомороса ¹
славным, беспримерным автором;
с алхимистом открываешь нам
тайну камня философского;
изъясняешь с систематиком
связь души с телесной сущностью
и свободы человеческой
с неперменными законами;
ты, которая с Людмилою
нежным и дрожащим голосом
мне сказала: я люблю тебя!
о богиня света белого —
Ложь, Неправда, призрак истины!
будь теперь моей богинею
и цветами луга русского
убери героя древности,
величайшего из витязей,
чудодея *Илью Муромца!*
Я об нем хочу беседовать,
об его бессмертных подвигах.
Ложь! с тобою не учиться мне
небылицы выдавать за быль.

¹ То есть обер-дурака.

Солнце красное явилось
на лазури неба чистого
и лучами злата яркого
осветило рощу тихую,
холм зеленый и цветущий дол.
Улыбнулось всё творение;
воды с блеском заструилися;
травки, ночью освеженные,
и цветочки благовонные
растворили воздух утренний
сладким духом, ароматами.
Все кусточки оживилися,
и пернатые малюточки,
конопляночка с малиновкой,
в нежных песнях славить начали
день, беспечность и спокойствие.
Никогда в Российской области
не бывало утро летнее
веселее и прекраснее.

Кто ж сим утром наслаждается?
Кто на статном соловѣм коне,
черный щит держа в одной руке,
а в другой копье булатное,
едет по лугу, как грозный царь?
На главе его пернатый шлем
с золотою, светлой бляхою;
на бедре его тяжелый меч;
латы, солнцем освещенные,
сыпят искры и огнем горят.
Кто сей витязь, богатырь молодой?
Он подобен маю красному:

розы алые с лилеями
расцветают на лице его.
Он подобен мирту нежному:
тонок, прям и величав собой.
Взор его быстрее орлиного
и светлее ясна месяца.
Кто сей рыцарь? — Илья Муромец.
Он проехал дикий темный лес,
и глазам его является
поле гладкое, обширное,
где природою рассыпаны
в изобилии дары земли.
Витязь Геснера не читывал;
но, имея сердце нежное,
любовался красотой дня;
тихим шагом ехал по лугу
и в душе своей чувствительной
жертву утреннюю, чистую,
приносил царю небесному.
«Ты, который украшаешь всё,
русский бог и бог вселенная!
Ты, который наделяешь нас
всеми благами щедрот своих!
будь всегда моим помощником!
Я клянуся вечно следовать
богатырским предписаниям
и уставам добродетели,
быть защитником невинности,
бедных, сирых и несчастных вдов,
и наказывать мечом своим
злых тиранов и волшебников,
устрашающих сердца людей!»

Так герой наш размышлял в себе
и, повсюду обращая взор,
за кустами впереди себя,
над струями речки быстрых,
видит светло-голубой шатер,
видит ставку богатырскую
с золотою круглой маковкой.
Он к кусточкам приближается
и стучит копьем в железный щит;
но ответу богатырского
нет на стук его оружия.
Белый конь гуляет по лугу,
неоседланный, невзнузданный,
щиплет травку ароматную
и следы подков серебряных
оставляет на росе цветов.
Не выходит витязь к витязю
поклониться, ознакомиться.

Удивляется наш Муромец;
смотрит на небо и думает:
«Солнце выше гор лазоревых,
а российский богатырь в шатре
неужель еще покоится?»
Он пускает на зеленый луг
своего коня надежного
и вступает смелой поступью
в ставку с золотою маковкой.

Для чего природа дивная
не дала мне дара чудного
нежной кистию прельщать глаза

и писать живыми красками
с Тицианом и Корреджием?
Ах! тогда бы я представил вам,
что увидел витязь Муромец
в ставке с золотою маковкой.
Вы бы вместе с ним увидели —
беспримерную красавицу,
всех любезностей собрание,
редкость милых женских прелестей;
вы бы вместе с ним увидели,
как она приятным, тихим сном
наслаждалась в голубом шатре,
разметавшись на цветной траве:
как ее густые волосы,
светло-русые, волнистые,
осеняли белизну лица,
шеи, груди алебастровой
и, свиваясь, развиваяся,
упадали на колена к ней;
как ее рука лилейная,
где все жилки васильковые
были с нежностью означены,
ее голову покоила;
как одежда снего-белая,
полотняная, тончайшая,
от дыханья груди полная
трепетала тихим трепетом.
Но не можно в сказке выразить
и не можно написать пером,
чем глаза героя нашего
услаждались на ее челе,
на ее устах малиновых,

на ее бровях возвышенных
и на всем лице красавицы.
Латы с золотой насечкою,
шлем с пером заморской жар-птицы,
меч с топазной рукояткою,
копие с булатным острием,
щит из стали вороненая
и седло с блестящей осыпью
на траве лежали вокруг ее.

Сердце твердое, геройское
твердо в битвах и сражениях
со врагами добродетели —
твердо в бедствиях, опасностях;
но нетвердо против женских стрел,
мягче воску белоярого
Против нежных, милых прелестей.
Витязь знал красавиц множество
в беспредельной Русской области,
но такой еще не видывал.
Взор его не отвращается
от румяного лица ее.
Он боится разбудить ее;
он досадует, что сердце в нем
бьется с частым, сильным трепетом;
он дыхание в груди своей
останавливать старается,
чтобы долее красавицу
беспрепятственно рассматривать.
Но ему опять желается,
чтоб красавица очнулась вдруг;
ему хочется глаза ее —

верно, светлые, любезные —
видеть под бровями черными;
ему хочется внимать ее
гласу тихому, приятному;
ему хочется узнать ее
любопытную историю,
и откуда, и куда она,
и зачем, девица красная
(витязь думал и угадывал,
что она была девицею),
ездит по свету геройствовать,
подвергается опасностям
жизни трудной, жизни рыцарской,
не щадя весенних прелестей,
не бояся жара, холода.
«Руки слабой, тленной женщины
могут шить серебром и золотом
в красном и покойном тереме, —
не мечом и не копьем владеть;
могут друга, сердцу милого,
жать с любовью к сердцу нежному, —
не гигантов на полях разить.
Если кто из злых волшебников
в плен возьмет девицу юную,
ах! чего злодей бесчувственный
с нею в ярости не сделает?» —
Так Илья с собой беседует
и взирает на прекрасную.

Время быстрою стрелой летит;
час проходит за минутами,

и за утром полдень следует —
незнакомка спит глубоким сном.

Солнце к западу склоняется,
и с эфирною прохладою
вечер сходит с неба ясного
на луга и поле чистое —
незнакомка спит глубоким сном.
Ночь на облаке спускается
и густыя тьмы покровами
одевает землю тихую;
слышно ручейков журчание,
слышно эхо отдаленное,
и в кусточках соловей поет —
незнакомка спит глубоким сном.

Тщетно витязь дожидается,
чтобы грудь ее высокая
вздохом нежным всколебалася;
чтоб она рукою белою
хотя раз тихонько тронулась
и открыла очи ясные!
Незнакомка спит по-прежнему.

Он садится в голубом шатре
и, взирая на прекрасную,
видит в самой темноте ночной
красоту ее небесную,
видит — в тронутой душе своей
и в своем воображении;
чувствует ее дыхание

и не мыслит успокоиться
в час глубокия полуночи.

Ночь проходит, наступает день;
день проходит, наступает ночь —
незнакомка спит по-прежнему.

Рыцарь наш сидит как вкопанный;
забывает пищу, нужный сон.
Всякий час, минуту каждую
он находит нечто новое
в милых прелестях красавицы;
и — недели целой нет в году!

Здесь, любезные читатели,
должно будет изъясниться нам,
уничтожить возражения
строгих, бледнолицых критиков:
«Как Илья, хотя и Муромец,
хоть и витязь Руси древняя,
мог сидеть неделю целую,
не вставая, на одном месте;
мог ни маковыя рѳсинки
в рот не брать, дремы не чувствовать?»
Вы слышали, как монах святой,
наслаждаясь дивным пением
райской пестрой конопляночки,
мог без пищи и без сна пребыть
не неделю, но столетие.
Разве прелести красавицы
не имеют чародействия
райской пестрой конопляночки?

О друзья мои любезные!
если б знали вы, что женщины
могут делать с нами, бедными!..
Ах! спросите стариков седых;
ах! спросите самого меня..
и, краснея, вам признаюсь,
что волшебный вид прелестницы —
не хочу теперь назвать ее! —
был мне пищею небесною,
олимпийскою амброзией;
что я рад был целый век не спать,
лишь бы видеть мог жестокую!..
Но боюсь говорить об ней,
и к герою возвращаюсь.

«Что за чудо! — рыцарь думает. —
Я слышал о богатырском сне;
иногда он продолжается
три дни с часом, но не более;
а красавица любезная...»
Тут он видит муху черную
на ее устах малиновых;
забывает рассуждения
и рукою богатырскою
гонит злого насекомого;
машет пальцем указательным
(где сиял большой золотой перстень
с талисманом Велеславиным) —
машет, тихо прикасается
к алым розам белолицыя —
и красавица любезная
растворяет очи ясные!

Кто опишет милый взор ее,
кто улыбку пробуждения,
ту любезность несказанную,
с коей, встав, она приветствует
незнакомого ей рыцаря?
«Долго б спать мне непрерывным сном
юный рыцарь! (говорит она)
если б ты не разбудил меня.
Сон мой был очарованием
злого, хитрого волшебника,
Черномора-ненавистника.
Вижу перстень на руке твоей,
перстень добрая волшебницы,
Велеславы благодетельной:
он своею тайной силою,
прикоснувшись к моему лицу,
уничтожил заклинание
Черномора-ненавистника».
Витязь снял с себя пернатый шлем:
чернобархатные волосы
по плечам его рассыпались.
Как заря алеет на небе,
разливаясь в море розовом
пред восходом солнца красного,
так румянец на щеках его
разливался в алом пламени.
Как роса сияет на поле,
осребренная светилом дня,
так сердечная чувствительность
в масле глаз его светилась.
Стоя с видом милой скромности
пред любезной незнакомкою,

тихим и дрожащим голосом
он красавице отвечает:
«Дар волшебницы любезныя
мил и дорог моему сердцу;
я ему обязан счастьем
видеть ясный свет очей твоих».
Взором нежным, выразительным
он сказал гораздо более.

Тут красавица заметила,
что одежда полотняная
не темница для красот ее;
что любезный рыцарь-юноша
догадаться мог легохонько,
где под нею что таилось...
Так седой туман, волнуясь
над долиною зеленою,
не совсем скрывает холмики,
посреди ее цветущие;
глаз внимательного странника
сквозь волнение туманное
видит их вершинки круглые.

Незнакомка взор потупила —
закраснелась, как маков цвет,
и взялась рукою белою
за доспехи богатырские.
Рыцарь понял, что красавице
без свидетелей желается
нарядиться юным витязем.
Он из ставки вышел бережно,
посмотрел на небо синее,

прислонился к вязу гибкому,
бросил шлем пернатый на землю
и рукою подпер голову.
Что он думал, мы не скажем вдруг;
но в глазах его задумчивость
точно так изображалась,
как в ручье густое облако;
томный вздох из сердца вылетел.
Конь его, товарищ верный друг,
видя рыцаря, бежит к нему;
ржет и прыгает вокруг Ильи,
поднимая гриву белую,
извивая хвост изгибистый.
Но герой наш нечувствителен
к ласкам, к радости товарища,
своего коня надежного;
он стоит, молчит и думает.
Долго ль, долго ль думать Муромцу?
Нет, недолго: раскрываются
полы светло-голубой ставки,
и глазам его является
незнакомка в виде рыцаря.
Шлем пернатый развевается
над ее челом возвышенным.
Героиня подпирается
копием с булатным острием;
меч блистает на бедре ее.
В ту минуту солнце красное
воссияло ярче прежнего,
и лучи его с любовью
пролилися на красавицу.

С кроткой, нежною улыбкою
смотрит милая на витязя
и движеньем глаз лазоревых
говорит ему: «Мы можем сесть
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками».
Рыцарь скоро приближается
и садится с героинею
на траве благоухающей,
под сенистыми кусточками.
Две минуты продолжается
их глубокое молчание;
в третью чудо совершается...

К САМОМУ СЕБЕ

Прости, надежда!.. и навек!
Исчезло всё, что сердцу льстило,
Душе моей казалось мило;
Исчезло! Слабый человек!
Что хочешь делать? обливаться
Рекою горьких, тщетных слез?
Стенать во прахе и терзаться?..
Что пользы? Рока и небес
Не тронешь ты своей тоскою
И будешь жалок лишь себе!
Нет, лучше докажи судьбе,
Что можешь быть велик душою,
Спокоен вопреки всему.
Чего робеть? ты сам с собою!
Прибегни к сердцу своему:
Оно твой друг, твоя отрада,
За все несчастья награда —
Еще ты в свете не один!
Еще ты мира гражданин!..
Смотри, как солнце над тобою
Сияет славой, красотою;
Как ясен, чист небесный свод;

Как мирно, тихо всё в природе!
Зефир струит зеркало вод,
И птички в радостной свободе
Поют: «Будь весел, улыбнись!»
Поют тебе согласным хором.
А ты стоишь с унылым взором,
С душою мрачной?.. Ободришь
И вспомни, что бывал ты прежде,
Как мудрым в чувствах подражал,
Сократа сердцем обожал,
С Катонем смерть любил, в надежде
Носить бессмертия венец.
Житейских радостей конец
Да будет для тебя началом
Геройской твердости в душе!
Язвимый лютых бедствий жалом,
Забвенный в темном шалаше
Всею светом, ложными друзьями,
Умей спокойными очами
На мир обманчивый взирать,
Несчастье с счастьем презирать!

Я столько лет мечтой пленялся,
Хотел блаженства, восхищался!..
В минуту всё покрылось тьмой,
И я остался лишь с тоской!

Так некий зодчий, созидая
Огромный, величественный храм
На диво будущим векам,
Гордился духом, помышляя
О славе дела своего;

Но вдруг огромный храм трясется.
Падет... упал... и нет его!..
Что ж бедный зодчий? Он клянется
Не строить впредь, беспечно жить...
А я клянуся... не любить!

1795

К МЕЛОДОРУ
В ОТВЕТ НА ЕГО ПЕСНЬ ЛЮБВИ

Когда бледнеет всё в подлунном мрачном мире
И жертвы плавают в дымящейся крови,¹
Тогда, о Мелодор! на кроткой, нежной лире
Играя, ты поешь о сладостях любви?
Умолкни, милый друг!.. Кто будет наслаждаться
Гармонией твоей, кто ею восхищаться?..
Но нет! играй и пой, любезнейший Орфей!
Поет и в страшный гром на миртах соловей!²

1795

¹ Тогда была война.

² Сии стихи писаны во время грома — и в самую ту минуту цел соловей.

ПОСЛАНИЕ К ЖЕНЩИНАМ

The gen'rous god, who wit and gold refines,¹
And ripens spirits as he ripens minds,
To you gave sense, good humour and . . . a Poet.
*Pope*²

❶ вы, которых мне любезна благосклонность,
Любезнее всего! которым с юных лет
Я в жертву приносил, чего дороже нет:
Спокойствие и вольность;
Которых милые глаза,
Улыбка и слеза
Закон в душе моей писали
И мною так играли.
Как резвый ветерок пером,
Тогда еще, как я гонялся
За пестрым мотыльком,
Считал себя богатырем,
Когда на дерево взбирался
За пташкиным гнездом. . .

¹ То есть Феб или Аполлон.

² Всеблагий бог, пекущийся о нас,
Шлифующий наш разум, как алмаз,
Вам кротость дал. рассудок и. . . Поэта
Поп. — Ред.

(И всё лишь для того, чтоб милой, нежной
Розе,

Красотке нашего села,
Подобной в самом деле розе,
Подарком угодить; чтоб Роза мне была
Обязана своей забавой)...

О вы, для коих я хотел врагов разить,¹
Не сделавших мне зла! хотел военной славой
Почтение людей, отличность заслужить,
Чтоб с лавром на главе пред вашими очами
Явиться и сказать: «Для вас, для вас и вами!
Возьмите лавр, а мне в награду... поцелуй!»
Для коих после я, в войне добра не видя,
В чиновных гордецах чины возненавидя,
Вложил свой меч в ножны («Россия,

торжествуй, —
Сказал я, — без меня!»)...и, вместо острой
шпаги,

Взял в руки лист бумаги,
Чернильницу с пером,
Чтоб быть писателем, творцом,
Для вас, красавицы, приятным;
Чтоб слогом чистым, сердцу внятным
Оттенки вам изображать
Страстей счастливых и несчастных,
То кротких, то ужасных;
Чтоб вы могли сказать:
«Он, право, мил и верно переводит
Всё темное в сердцах на ясный нам язык;
Слова для тонких чувств находит!»

¹ Автор, будучи семнадцати лет, думал ехать в армию.

О вы, в которых я привык
Любить себя, природу
И всё, что смертных роду
В предмет любви дано!

Я к вам хочу писать послание стихами.

Дам волю сердцу: пусть оно
С своими милыми друзьями
Что хочет говорит!

Не нужно думать мне: слова текут рекою
В беседе с тем, кого мы любим всей душою.

Любовь стихи животворит
И старому дает вид новый.

Скажу вам, милые, — и чем другим начать? —
Что вы родитесь свет подлунный украшать,
Который бы без вас в угрюмости суровой
Был самый мрачный свет.

Несчастный Мизогин¹ в Сибири век живет:
Напрасно Феб над ним в величии сияет —

Душа его от хлада умирает.

К сердцам и к счастью судьбой вам отдан ключ;
У вас в очах блестит небесный, тихий луч,
Который показать нам должен путь к блаженству,

Добру и совершенству;

Другим путем к тому вовеки не дойдем.

Три страсти правят светом:

Одна имеет честь предметом,

Другая золото, а третьею живем
Для ваших милых глаз. Ах! первая доводит
Людей до страшных бед, злодеев производит,

¹ То есть ненавистник женского пола.

Жестоких, мрачных Сил
И яростных Аттил.
Там льется кровь рекой, здесь град в огне
пылает —
На что?.. Герой¹ желает
Сказать: «Я победил
И честь бессмертия геройством заслужил!»
Но, дни победами считая,
Пусть скажет, много ли минут блаженных счел
Он в жизни для себя? и, лавром осеняя
Надменное чело, не часто ли хотел
Укрыться в *сень* лесов, чтоб жертв, его рукою
Сраженных, не видеть,
Их вопля не слышать?
Путь славы не ведет к сердечному покою;
Мы зрим на нем довольно роз,
Но больше терний, больше слез.
Ах! счастье любит мир, от шума убегает:
Таков небес устав!

Кто ж в злате душу полагает,
Тот, все сокровища собрав,
Еще души не обретает
Ни в злате, ни... в самом себе!
Всегда, как червь, ползет во прахе;
Всегда живет в ужасном страхе,
Чтоб вдруг не вздумалось судьбе

¹ То есть ложный герой, Аттила и подобные ему. Истинные герои сражаются для пользы своего отечества. Здесь автор представляет *честолюбие* только с худой стороны; о хорошей — молчит.

Лишить его сокровищ милых;
Таится, как сова, в тени ночей унылых,
Бояся, чтобы Феб его не осветил
И золота в мешках лучом не растопил.
Трепещет лист, и сердце в нем трепещет...
 «Конечно, вор ко мне идет!..»
 Где искра в воздухе сверкнет,
Там, кажется ему, кинжал убийцы блещет —
 И сей безумный человек
С тоскою на часах проводит весь свой век.

Но кто пленится вами,
Любезные мои, как мил бывает тот,
 Как нежен сердцем, добр делами!
Природа для него есть зрелище красот.
Не ищет рая он в пределах, нам безвестных, —
 Вверху, за солнцем, выше звезд;
Он рай нашел в глазах прелестных
Любовницы своей; и тех священных мест,
 Где милая гуляет,
Где, сидя над ручьем, о друге помышляет,
Не променяет он на вечную весну
 Полей блаженных, Елисейских.
Он умер — для сует житейских;
Живет — лишь для любви, и зрит любовь одну
 Во всем творении обширном;
 Бежит от скуки городской,
 Чтоб в сельском крове мирном
Питать в груди своей чувствительность, покой.
 Где тихо горлицы воркуют,
 Друг друга с нежностью милуют

И гнездышко себе на юных миртах вьют;
Где две малиновки поют;
Где все богатства Флоры
Сияют на лугах,

Как пурпур, золото Авроры

В час утренний блестит на тонких облаках, —
Там он, под сенью дров душистых,
Там он, под шумом вод серебристых,
С любезною своею в восторге дни ведет,
И только лишь от нежных чувств вздыхает,
И только лишь от счастья слезы льет.

Вкушая радости, он радость сообщает
Всему вокруг себя: приблизится ль к нему
Печальный во слезах — он слезы осушает;
Убогий ли придет — он всё дает ему,
Желая, чтоб весь мир с ним вместе

наслаждался,

Любился, восхищался...

Велите мне избрать подсолнечной царя:

Кого я изберу, усердием горя

Ко счастью людей? Того, кто всех нежнее,

Того, кто всех страстнее

Умеет вас любить, — и свет бы счастлив был!

Ах! самый лютей воин,

Который век на ратном поле жил

(И жизни был едва ль достоин!),

Смягчается душой, восчувствовав любовь;

Услышав имя той, которою пылает,

Щадит врагов сраженных кровью

И меч подъятый... опускает.

Нередко и скупец, чтоб милой угодить,

Приятный взор ее, улыбку заслужить,

Бывает сирых друг и нищих благодетель.
Вот действие любви — вот ваша добродетель!

Пусть строгий муж Зенон в угрюмости своей
Кричит, что должно жить нам в свете без

Людьми лишь называться, страстей,

Но камнем в сердце быть, —

Учению сему в архивах оставаться,

В сердца ж вовеки не входить;

Природа, истина его не освятили

Печатию своей. Сей разум, коим нас

Судьбы благие одарили,

О коем мудрецы твердят нам всякий час,

Не есть ли тщетный дар без склонностей

сердечных?

Они-то движут нас; без них и ум молчит.

Погибель ждет пловцов беспечных,

Когда их кормщик в бурю спит;

Но кормщику не можно

Без ветра морем плыть. Уму лишь править должно

Кормилом жизни сей:

Нас по морю несет шумящий ветер страстей. . .

Блажен, кто с веющим зephyром,

С любовью в сердце и в очах,

Летит на парусных крылах

К счастливой пристани, где с миром

Нас гений тихой смерти ждет!

«Но часто страсть любви нас к горестям ведет!»

Не часто — иногда: так тихая лампада,

Во тьме для мудрого отрада,

Любозных матерей в веселии цвели,
 А я в печальных тенях
 Рекою слезы лил на мох сырой земли,
 На мох твоей могилы!..
 Но образ твой священный, милый
 В груди моей напечатлен
 И с чувством в ней соединен!
 Твой тихий нрав остался мне в наследство;
 Твой дух всегда со мной.
 Невидимой рукой
 Хранила ты мое безопытное детство;
 Ты в годах юности меня к добру влекла
 И совестью моей в час слабостей была.
 Я часто тень твою с любовью обнимаю
 И в вечности тебя узнаю!..
 Простите мне, что я о мертвой вспомню
 И с горестью вздохну!
 Подобно как в саду, где роза с нежным кринном,
 Нарцисс и анемон, аврикула с ясьмином
 И тысячи цветов
 Пестреют на берегу кристальных ручейков,
 Не знаешь, что хвалить, над чем остановиться,
 На что смотреть, чему дивиться, —
 Так я теряюсь в красотах
 Прелестных ваших душ. Хвалить ли в вас
 то чувство,
 Которым истину находите в вещах¹

¹ Я несколько раз имел случай удивляться *острому* *понятию* женщин, которое Лафатер называет *чувством* *истины*. Мужчина десять раз переменяет мысли свои: женщина остается при первом чувстве — и редко обманывается.

Скорее всех Мужчин? Нам надобно искусство.
Трудиться разумом, работать, размышлять.

Чтоб истину сыскать;

Для нас она живет в лесах, в вертепах темных

И в кладезях подземных:

Для вас же птичкою летает на лугах;

Махнете ей — и вдруг она у вас в руках...

Скажите, отчего мудрец Сократ милее

Всех прочих мудрецов? учение его

Приятнее других, приятнее, сильнее

Нас к мудрости влечет? Я знаю — оттого,

Что граций он любил, с Аспазией был дружен.

Философу совет ваш нужен,

Чтоб ум людей пленить, подобно как сердца

Умеете пленять. Любезность мудреца

Должна быть истине приправой;

Иначе скучен нам и самый разум здравый —

Любезность же сия есть ваш бесценный дар.

Хвалить ли в вас тот жар,

С которым вы всегда добро творить готовы?

Вам милы бедных кровы;

Для вас они священный храм,

Где добродетели небесной

Рукою вашею прелестной

Курится фимиам.

У вас учиться должно нам,

Как ближнему служить. Я видел жен прекрасных,

Которых юный век тому лишь посвящен,

Чтоб муки утолять несчастных;¹

¹ Орден так называемых *сестр милосердия*, *sœurs grises*, которых нежному челсеволюбию удивлялся я в лионских больницах.

Всечасно взор их устремлен
На то, что душу возмущает:
На скорбь, страдание и смерть!
С какую кротостью их голос увещает
Болящих не роптать на бога, но терпеть!
Колена преклонив, одна у неба просит
Им здравия или... спокойного конца;
Другая питие целебное разносит
И ласкою живит тоскующих сердца.

Своею красотою
Могли б они царей пленять;
Но им милее быть с болезнью, нищетою,
Чтоб бремя их сколь можно облегчать!
Я был тому свидетель
И слезной, пламенной рекой
Излил восторг души. Ах! благодать, добродетель
Священнее всего являют образ свой
В лице красавицы любезной!

Хвалить ли вас, друзья мои, за дар полезный
Мужчин развеселять
Одним приятным взором?
Без вас что делать нам? Друг друга усыплять
Холодным, скучным разговором?
Явитесь в обществе с усмешкой на устах,
И вдруг во всех очах
Веселья луч сверкнет; наш разум оживится;
Чтоб милым полюбиться,
Мужчина сам бывает мил...

Но кто б исчислил всё, чем свету вы полезны,
Чем сердцу вы любезны,

Тот Эйлер бы другой в науке числить был.
Довольно, что вы нас во всем, во всем добрее,

Почти во всем умнее,

И будете всегда нам в нежности пример.

Пусть вас злословит лицемер,
Который для того красавиц порицает,
Что средства нравиться красавицам не знает!

Скажите, что любезен он, —

И страшный Мизогин вдруг будет... Селадон!

Положим, что найти в вас слабости возможно;

Но разве от того луна уж не светла,

Что видим пятна в ней? Ах, нет! она мила,

И кроткий свет ее поэтам славить должно.

Луна есть образ ваш: ее серебристый луч

Тьму ночи озаряет,

А прелесть ваша нам отраду в грудь вливает

Среди печальных жизни туч.

Где только люди просветились,

Жить, мыслить научились,

Мужчины обожают вас.

Где разум, чувство в усыпленьи;

Где смертных род во тьме невежества погряз;

Где сан, права людей в презренье,

Там презрены и вы. О Азия, раба

Насильств, предрассуждений!

Когда всемошная судьба

В тебе рассеет мрак несчастных заблуждений

И нежный пол от уз освободит?

Когда познаешь ты приятность вольной страсти?

Когда в тебе любовь сердца соединит,

Не тяжкая рука жестокой, лютой власти?
Когда не гнусный страж, не крепость мрачных
стен,

Но верность красоте хранительницей будет?
Когда в любви тиран-мужчина позабудет,
Что больше женщины он силой наделен?
Когда? Когда? . . . Уже дочь неба, друг судьбины,
Возрела на тебя — орлы Екатерины

К твоим странам летят
И человечества любезной половиной
Там вольность возвестят! . . .
Хор женщин загремит: *хвала и честь богине!*

Цвети, о нежный пол! и сыпь на нас цветы!

Исчезли для меня прелестные мечты —

Уже я не могу пленять вас красотой,

Ни юностью своей: весна моя прошла;

Зрю осень пред собою,

А осень, говорят, скучна и не мила!

Но всё ещё ваш взор бывает мне отрадой

И сладкою наградой

За то, что в жизни я от злых мужчин терплю;

Но всё, но всё ещё люблю

В апреле рвать фиалки с вами,

В жар летний отдыхать в тени над ручейками,

В печальном октябре грустить и тосковать,

Зимой перед огнем романы сочинять,

Вас тешить и стращать!

Сказав любви: *прости!* я дружбою святою

Живу и жить хочу. Мне резвый Купидон

Отставку подписал — любовник с сединою

*

Не может счастлив быть: таков судьбы
закон, —

Но истинных друзей я в вас же обретаю.
Нанина! десять лет тот день благословляю,
Когда тебя, мой друг, увидел в первый раз;
Гармония сердец соединила нас
В единый миг навек. Что был я? сиротою
В пространном мире сем: скучал самим собою,
Печальным бытием. Никто меня не знал,
Никто участия в судьбе моей не брал.

Чувствительность в груди питаю,
В сердцах у всех людей я камень находил;
Среди цветущих дней душою увядая.

Не в свете, но в пустыне жил.
Ты дружбой, искренностью милой
Утешила мой дух унылый;
Святой любовью своей
Во мне цвет жизни обновила
И в горестной душе моей
Источник радостей открыла.
Теперь, когда я заслужил
Улыбку граций, муз прелестных,

И гордый свет меня улыбкою почтил,
Немало слышу я приветствий, сердцу лестных,
От добрых, нежных душ. Славнейшие творцы
И Фебовы друзья, бессмертные певцы,
Меня в любви своей, в приязни уверяют
И слабый мой талант к успехам ободряют.
Но знай, о верный друг! что дружбою твоей
Я более всего горжуся в жизни сей

И хижину с тобою,
Безвестность, нищету

Чертогам золотым и славе предпочту.

Что истина своей рукою

Напишет над моей могилой? Он любил:

Он нежной женщины нежнейшим другом был!

1795

ВЫБОР ЖЕНИХА

• Лиза в городе жила,
Но невинною была;
Лиза, ангел красотою,
Ангел нравом и душою.
Время ей пришло любить...
Всем любиться в свете должно.
И в семнадцать лет не можно
Сердцу без другого жить.

Что же делать? где искать?
И кому люблю сказать?
Разве в свете появиться,
Всех пленить, одним плениться?
Так и сделала она.
Лизу люди окружили,
Лизе все одно твердили:
«Ты прельщать нас рождена!»

«Будь супругою моею! —
Говорит богатый ей, —
Всякий день тебе готовы
Драгоценные обнови;
Станешь в золоте ходить;
Ожерельями, серьгами,

Разноцветными парчами
Буду милую дарить».

Что ж красавица в ответ?
Что сказала? да иль нет?
Лиза только улыбнулась;
Прочь пошла, не оглянулась.
Гордый барин ей сказал:
«Будь супругою моею;
Будешь знатной госпожею:
Знай, я *полный* генерал!»

Что ж красавица в ответ?
Что сказала? да иль нет?
Генералу поклонилась,
Только чином не пленилась;
Лиза... далее идет;
Ищет, долго не находит...
«Так она и век проходит!..»
Ошибаетесь — найдет!

Лизе *суженый* сказал:
«Чином я не генерал
И богатства не имею,
Но любить тебя умею.
Лиза! будь навек моя!» —
Тут прекрасная вздохнула,
На любезного взглянула
И сказала: «Я твоя!»

НЕПОСТОЯНСТВО

Пусть счастье коловратно —
Нельзя не знать того;
Но мы еще стократно
Превратнее его.

Всё нового желаем,
От старого бежим
И счастье презираем,
Когда знакомы с ним.

Любя во всем измену,
Позволим же любить
И счастьем перемену,
Чтоб нам, неверным, мстить!

1795

К БЕДНОМУ ПОЭТУ

Престань, мой друг, поэт унылый,
Роптать на скудный жребий свой
И знай, что бедность и покой
Еще быть могут сердцу милы.
Фортуна-мачеха тебя,
За что-то очень не влюбля,
Пустой сумою наградила
И в мир с клюкою отпустила;
Но истинно родная мать,
Природа, любит награждать
Несчастных пасынков Фортуны:
Дает им ум, сердечный жар,
Искусство петь, чудесный дар
Вливать огонь в золотые струны,
Сердца гармонией пленять.
Ты сей бесценный дар имеешь;
Стихами чистыми умеешь
Любовь и дружбу прославлять;
Как птичка, в белом свете волен,
Не знаешь клетки, ни оков —
Чего же больше? будь доволен;
Вздыхать, роптать есть страсть глупцов.

Взгляни на солнце, свод небесный,
На свежий луг, для глаз прелестный;

Смотри на быструю реку,
Летящую с серебристой пеной
По светло-желтому песку;
Смотри на лес густой, зеленый
И слушай песни соловья:
Поэт! Натура вся твоя.
В ее любезном сердцу лоне
Ты царь на величавом троне.
Оставь другим носить венец:
Гордися, нежных чувств певец,
Венком, из нежных роз сплетенным,
Тобой от граций полученным!
Тебе никто не хочет льстить:
Что нужды? кто в душе спокоен,
Кто истинной хвалы достоин,
Тому не скучно век прожить
Без шума, без льстецов коварных.
Не можешь ты чинов давать,
Но можешь зернами питать
Семейство птичек благодарных;
Они хвалу тебе споют
Гораздо лучше стиходеев,
Тиранов слуха, лже-Орфеев,
Которых музы в одах лгут
Нескладно-пышными словами.
Мой друг! существенность бедна:
Играй в душе своей мечтами.
Иначе будет жизнь скучна.
Не Крез с мешками, сундуками
Здесь может веселее жить,
Но тот, кто в бедности умеет
Себя богатством веселить;

Кто дар воображать имеет
В кармане тысячу рублей,
Копейки в доме не имея.
Поэт есть хитрый чародей:
Его живая мысль, как фея,
Творит красавиц из цветка;
На сосне розы производит,
В крапиве нежный мирт находит
И строит замки из песка.
Лукуллы в неге утонченной
Напрасно вкус свой притупленный
Хотят чем новым усладить.
Сатрап с Лаисою зевает;
Платок ей бросив, засыпает.
Их жребий: дни считать, не жить;
Душа их в роскоши истлела,
Подобно камню онемела
Для чувства радостей земных.
Избыток благ и наслажденья
Есть хладный гроб воображенья;
В мечтах, в желаньях своих
Мы только счастливы бываем;
Надежда — золото для нас,
Призрак любезнейший для глаз,
В котором счастье лобызаем.

Не сытому хвалить обед,
За коим нимфы, Ганимед
Гостям амброзию разносят,
И не в объятиях Лизет
Певцы красавиц превозносят;

Всё лучше кажется вдали.
Сухими фигами питаюсь,
Но в мыслях царски наслаждаясь
Дарами моря и земли,
Зови к себе в стихах игривых
Друзей любезных и счастливых
На сладкий и роскошный пир;
Сбери красоток несравненных,
Веселым чувством оживленных;
Вели им с нежным звуком лир
Петь в громком и приятном хоре,
Летать подобно Терпсихоре
При плеске радостных гостей
И милой ласкою своей,
Умильным, сладострастным взором,
Немым, но внятным разговором
Сердца к тому готовить,
Чего... в стихах нельзя сказать.
Или, подобно Дон-Кишоту,
Имея к рыцарству охоту,
В шишак и панцирь нарядись,
На борзого коня садись,
Ищи опасных приключений,
Волшебных замков и сражений,
Чтоб добрым принцам помогать
Принцесс от уз освобождать.
Или, Платонов воскрешая
И с ними ум свой изоощряя,
Закон республикам давай
И землю в небо превращай.
Или... но как всё то исчислить,

Что может стихотворец мыслить
В укромной хижинке своей?

Мудрец, который знал людей,
Сказал, что мир стоит обманом;
Мы все, мой друг, лжецы:
Простые люди, мудрецы;
Непроницаемым туманом
Покрыта истина для нас.
Кто может вымышлять приятно,
Стихами, прозой, — в добрый час!
Лишь только б было вероятно.
Что есть поэт? искусный лжец:
Ему и слава и венец!

ОТСТАВКА

Amour, né d'un soupir, est comme
lui léger.¹

Итак, в отставку ты уволен!..
Что делать, нежный пастушок?
Взять в руки шляпу, посошок;
Сказать: спасибо; я доволен!
Идти, и слезки не пролить.

Иду, желая милой Хлое
Приятно с новым другом жить.
Свобода — дело золотое,
Свобода в мыслях и в любви.
Минута чувства воспаляет,
Минута гасит огонь в крови.
Сердца любовников смыкает
Не цепь, но тонкий волосок:
Дохнет ли резвый ветерок,
Порхнет ли бабочка меж ими...
Всему конец, и связи нет!
Начто упреками пустыми
Терзать друг друга? Белый свет
Своим порядком ввек идет.

¹ Любовь, рожденная вздохом, как он недолговечна. — *Ред.*

Все любят, Хлоя, разлюбляют;
Клянутся, клятву преступают:
Где суд на ветреность сердец?
Что ныне взору, чувствам мило,
То завтра будет им постыло.
Теперь вам нравится мудрец,
Через час понравится глупец,
И часто бога Аполлона
(Чему свидетель древний мир)
Сменял в любви лесной сатир.
Под скиптром душегубца Крона¹
Какому постоянству быть?
Где время царь, там всё конечно,
И разве в вечности вам вечно
Придется одного любить!

Итак, смотри в глаза мне смело;
Я, право, Хлоя, не сердит.
Шуметь мужей несносных дело;
Любовник видит — и молчит;
Укажут дверь — и он с поклоном
Ее затворит за собой;
Не ссорясь с новым Селадомом,
Пойдет... стихи писать домой.

Я жил в Аркадии с тобою
Не час, но целых сорок дней!
Довольно — лучший соловей
Поет не долее весною...
Я также, Хлоя, пел тебя!..

¹ Сатурна.

И ты с восторгом мне внимала;
Рукою... на песке писала:
Люблю — люблю — умру любя!

Но старый друг твой не забудет,
Что кто о старом помнить будет,
Лишится глаза, как Циклоп:¹
Пусть, Хлоя, мой обширный лоб
Подчас украсится рогами;
Лишь только был бы я с глазами!

1796

¹ Русская пословица: «Кто старое помянет, тому глаз вон».

К НЕВЕРНОЙ

Рассудок говорит: «Всё в мире есть мечта!»
Увы! несчастлив тот, кому и сердце скажет:
«Всё в мире есть мечта!»,

Кому жестокий рок то опытом докажет.

Тогда увянет жизни цвет;

Тогда несносен свет;

Тогда наш взор унылый

На горестной земле не ищет ничего:

Он ищет лишь... могилы!..

Я слышал страшный глас, глас сердца моего,
И с прелестью души, с надеждою простился;
Надежда умерла: и так могу ли жить?

Когда любви твоей я, милая, лишился,
Могу ли что-нибудь, могу ль себя любить?
Кто в жизни испытал всю сладость нежной
страсти

И нравился тебе, тот... жил и долго жил;

Мне должно умереть: так рок определил.

Ах! если б было в нашей власти

Вовеки пламенно любить,

Вовеки в милом сердце жить,

Никто б не захотел расстаться с здешним
светом;

Тогда бы человек был зависти предметом

Для жителей небес. — Упреками тебе
Скучать я не хочу: упреки бесполезны;
Насильно никогда не можем быть любезны.
Любви покорно всё, любовь... одной судьбе.

Когда от сердца сердце удалится,
Напрасно звать его: оно не возвратится.

Но странник в горестных местах,
В пустыне мертвой, на песках,
Приятности лугов, долин воображает,

Чрез кои некогда он шел:
«Там пели соловьи, там мирт душистый цвел!»
Сей мыслию себя страдалец лишь терзает,
Но все несчастные о счастье говорят.
Им участь... вспоминать, счастливицу...

наслаждаться:

Я также вспомню рай, питая в сердце ад.

Ах! было время мне мечтать и заблуждаться:
Я прожил тридцать лет; с цветочка на цветок
С зефирами летал. Киприда свой венок

Мне часто подавала;

Как резвый ветерок, рука моя играла
Со флером на груди прелестнейших цирцей;

Армиды Тассовы, Лаисы наших дней
Улыбкою любви меня к себе манили

И сердце юноши быть ветреным учили;

Но я влюблялся, не любя.

Когда ж узнал тебя,

Когда, дрожащими руками
Обняв друг друга, всё забыв,

Двумя горящими сердцами
Союз священный заключив,

Мы небо на земле вкусили
И вечность в миг один вместили, —
Тогда, тогда любовь я в первый раз узнал;
Ее восторгом изнуренный,
Лишился мыслей, чувств и смерти ожидал,
Прелестнейшей, блаженной!..
Но рок хотел меня для горя сохранить;
За счастье должно нам несчастьем платить.

Какая смертная как ты была любима,
Как ты боготворима?
Какая смертная была
И столь любезна, столь мила?
Любовь в тебе пылала,
И подле сердца моего
Любовь, любовь в твоём так сильно трепетала!
С небесной сладостью дыханья твоего
Она лилась мне в грудь. Что слово,
то блаженство;
Что взор, то новый дар. Я целый свет забыл,
Природу и друзей: природы совершенство,
Друзей, себя, творца в тебе одной любил.
Единый час разлуки
Был сердцу моему несносным годом муки;
Прощаясь с тобой,
Прощался я с самим собой...
И с чувством обновленным
К тебе в объятия спешил;
В душевной радости рекою слезы лил;
В блаженстве трепетал... не смертным, богом
был!..
И прах у ног твоих казался мне священным!

*

Я землю целовал,
На кою ты ступала;
Как нектар воздух пил, которым ты дышала...
Увы! от счастья здесь никто не умирал,
Когда не умер я!.. Оставить мир холодный,
Который враг чувствительным душам;
Обнявшись перейти в другой, где мы свободны
Жить с тем, что мило нам;
Где царствует любовь без всех предрассуждений,
Без всех несчастных заблуждений;
Где бог улыбкой встретит нас...
Ах! сколько, сколько раз
О том в восторге мы мечтали
И вместе слезы проливали!..
Я был, я был любим тобой!

Жестокая!.. увы! могло ли подозренье
Мне душу омрачить? Ужасною виной
Почел бы я тогда малейшее сомненье;
Оплакал бы его. Тебе неверной быть!
Скорее нас творец забудет,
Скорее изверг здесь покоен духом будет,
Чем милая души мне может изменить!
Так думал я... и что ж? На розе уст небесных,
На тайной красоте твоих груди прелестных
Еще горел, пылал мой страстный поцелуй,
Когда сказала ты другому: «Торжествуй —
Люблю тебя!..» Еще ты рук не опускала,
Которыми меня, лаская, обнимала,
Другой, другой уж был в объятиях твоих...
Иль в сердце... всё одно! Без тучи гром
ужасный

Ударил надо мной. В волненьи чувств моих
Я верить не хотел глазам своим, несчастный!
И думал наяву, что вижу всё во сне;
Сомнение тогда блаженством было мне —
Но ты, жестокая, холодною рукою

Завесу с истины сняла!..

Ни вздохом, ни одной слезою
Последней дани мне в любви не принесла!..

Как можно разлюбить, что нам казалось мило,
Кем мы дышали здесь, кем наше сердце жило?

Однажды чувства истощив,

Где новых взять для новой страсти?
Тобой оставлен я; но, ах! в моей ли власти
Неверную забыть? Однажды полюбив,
Я должен ввек любить; исчезну обожая.

Тебе судьба иная;

Иное сердце у тебя —

Блаженствуй! Самый гроб меня не утешает;
И в вечности я зрю пустыню для себя:
Я буду там один! Душа не умирает;
Душа моя и там всё будет тосковать
И тени милыя искать!

К ВЕРНОЙ

Ты мне верна!.. тебя я снова обнимаю!..

И сердце милое твое

Опять, опять мое!

К твоим ногам в восторге упадаю...

Целую их!.. Ты плачешь, милый друг!..

Сладчайшие слова: «души моей супруг»,

Опять из уст твоих я в сердце принимаю!..

Ах! как благодарить творца!..

Всё горе, всю тоску навек позабываю!..

* * * * *
Ты бледность своего лица

Показываешь мне — прощаешь! Не дерзаю

Оправдывать себя:

Заставив мучиться тебя,

Преступником я был. Но мне казалось ясно

Несчастье мое. И ты сама... прости...

Воспоминание душе моей ужасно!..

К сей тайне я тогда не мог ключа найти.¹

Теперь, теперь стыжусь и впредь клянусь

не верить

Ни слуху, ни глазам;

Не верить и твоим словам,

¹ Темно; можно только догадываться.

Когда бы ты сама хотела разуверить
Меня в любви своей. На сердце укажу,
Взгляну с улыбкою и с твердостью скажу:

«Оно, мой друг, спокойно;

Оно тебя достойно

Надежностью своей.

Испытывай меня!» Пусть прелестью твоей

Другие также заразятся!

Для них надежды *цвет*, а мне — надежды *плод!*

Из них пусть каждый счастья ждет:

Я буду счастьем наслаждаться.

Их жребий: *милую любить;*

Мой жребий: *милой милым быть!*

Хотя при людях нам нельзя еще словами

Люблю друг другу говорить;

Но страстными сердцами

Мы будем всякий миг «люблю, люблю»

твердить

(Другим язык сей непонятен;

Но голос сердца сердцу внятен),

И взор умильный то ж украдкой подтвердит.

Снесу жестокость принужденья

(Что делать? так судьба велит),

Снесу в блаженстве уверенья,

Что ты моя в душе своей.

Ах! истинная страсть питается собою;

Восторги чувств не нужны ей.

Я знаю, что меня с тобою

Жестокий рок готов надолго разлучить;

Скажу тебе... «прости!» и должен буду скрыть

Тоску в груди моей!.. Обильными слезами

Ее не облегчу в присутствии других;

И ангела души дрожащими устами
Не буду целовать в объятиях своих!..
Расстаться тяжело с сердечной половиной;
Но... я люблю тобой: сей мыслию единой

Унылый мрак душевных чувств моих
Как солнцем озарится.

Разлука — опыт нам:

Кто опыта страшится,

Тот, верно, нелюбим, тот мало любит сам;
Прямую страсть всегда разлука умножает —
Так буря слабый огонь в минуту погашает,
Но больше сил огню сильнейшему дает.

Когда души единственный предмет

У нас перед глазами,

Мы знаем то одно, что весело любить;

Но чтоб узнать всю власть его над нами —

Узнать, что без него душе не можно жить...
Расстанься с ним!.. Любовь питается слезами,

От горести растет;

И чувство, что нельзя преодолеть нам страсти,
Еще ей более дает

Над сердцем сладкой власти.

Когда-нибудь, о милый друг,

Судьбы жестокие смягчатся:

Два сердца, две руки навек соединятся;

Любовник... будет твой супруг.

Ах! станем жить: с надеждой жизнь прекрасна;

Не нам, тому она ужасна,

Кто любит лишь один, не будучи любим.

Исчезнут для меня с отбытием твоим

Существование и мир: в одном воображеньи

Я буду находить утехи для себя;
Далеко от людей, в лесу, в уединеньи,
 Построю¹ домик для тебя,
 Для нас двоих, над тихою рекою
Забвения всего, но только не любви;
 Скажу тебе: «В сем домике живи
 С любовью, счастьем и со мною:
Для прочего умрем. Прельщаяся тобою,
Я прелести ни в чем ином не нахожу.
 Тебе все чувства посвящаю:
Взгляну ль на что, когда на милую гляжу?
Услышу ль что-нибудь, когда тебе внимаю?
Душа моя полна: я в ней тебя вмещаю!
Пусть бог вселенную в пустыню превратит;
 Пусть будем в ней мы только двое!
Любовь ее для нас украсит, оживит.
Что сердцу надобно? найти, любить другое;
А я нашел, хочу с ним вечность провести
 И свету говорю: «прости!»

Прелестный домик сей вдали нас ожидает;
Теперь его судьба завесой покрывает,
Но он явится нам: в нем буду жить с тобой
Или мечту сию... возьму я в гроб с собой.

1796

1 В мыслях.

ИСПРАВЛЕНИЕ ¹

Июра, друзья, за ум нам взяться,
Беспутство кинуть, жить путем.
Не век за бабочкой гоняться,
Не век быть резвым мотыльком.

Беспечной юности утеха
Есть в самом деле страшный грех.
Мы часто плакали от смеха —
Теперь оплачем прежний смех

И другу, недругу закажем
Кого-нибудь в соблазн вводить;
Прямым раскаяньем докажем,
Что можем праведными быть.

Простите, скромные диваны,
Свидетели нескромных сцен!
Простите, хитрости, обмань,
Беда мужей, забава жен!

Отныне будет всё иное:
Чтоб строгим людям угодить,
Мужей оставим мы в покое,
А жен начнем добру учить —

¹ Шутка над лицемерами и ханжами.

Не с тем, чтоб нравы их исправить —
Таких чудес нельзя желать, —
Но чтоб красавиц лишь заставить
От скуки и тоски зевать.

«Зевать?» Конечно; в наказание
За наши общие дела.
Бывало... Прочь, воспоминанье,
Чтоб снова не наделать зла.

Искусство нравиться забудем
И с постным видом в мясоед
Среди собраний светских будем
Ругать как можно злее свет;

Бранить всё то, что сердцу мило,
Но в чем сокрыт для сердца вред;
Хвалить, что грешникам постыло,
Но что к спасению ведет.

Memento mori! ¹ велегласно
На бáлах станем восклицать
И стоном смерти ежечасно
Любезных ветрениц пугать. —

Как друг ваш столь переменился,
Угодно ль вам, друзья, спросить?..
Сказать ли правду?.. Я лишился
(Увы!) способности грешить!

1797

¹ То есть: *помни смерть.*

ТАЦИТ

Тацит велик; но Рим, описанный Тацитом,
Достоин ли пера его?
В сем Риме, некогда геройством знаменитом,
Кроме убийц и жертв не вижу ничего.
Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!

1797

СТРАСТИ И БЕССТРАСТИЕ

Как беден человек! нам страсти — горе, мука;
Без страсти жизнь не жизнь, а скука:
Люби — и слезы проливай;
Покоен будь — и век зевай!

1797

ДВА СРАВНЕНИЯ

1

Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним.
Читаем по складам, смеемся, плачем... спим.

1797

2

Что есть жизнь наша? — Сказка.
А что любовь? — Ее завязка;
Конец печальный иль смешной.
Родись, люби — и бег с тобой!

1797 (?)

**ПРОРОЧЕСТВО НА 1799 ГОД,
НАЙДЕННОЕ В БУМАГАХ ВОСТРАДАМУСА**

В сей год глупцы и ум не будут — антиподы,
Из глаз мадамы Шню¹ родится — василиск,
Немые с сиднями составят — хороводы,
Из Рима в Клин шагнет Траянов — обелиск,
Поэта Дмитрева разлюбят — Аониды,
Оставят злых людей в покое — эвмениды,
Амур явится вдруг с усами как — гусар,
Прекрасным девушкам в Москве наскучат — балы,
Скупые засветят без свеч одни — шандалы,
Чтоб всё сие воспеть, родится вновь — Пиндар.

Конец 1798 или начало 1799.

¹ Содержательница кофейного дому, славная своим безобразием.

МЕЛАНХОЛИЯ

Подражание Делилю

Страсть нежных, кротких душ, судьбою
угнетенных,
Несчастных счастье и сладость огорченных!
О Меланхолия! ты им милее всех
Искусственных забав и ветреных утех.
Сравнится ль что-нибудь с твоею красотой,
С твоей улыбкою и с тихою слезою?
Ты первый скорби врач, ты первый сердца друг:
Тебе оно свои печали поверяет;
Но, утешаясь, их еще не забывает.
Когда, освободясь от ига тяжких мук,
Несчастный отдохнет в душе своей унылой,
С любовью ему ты руку подаешь
И лучше радости, для горестных немилрой,
Ласкаешься к нему и в грудь отраду льешь
С печальной кротостью и с видом умиленья.
О Меланхолия! нежнейший перелив
От скорби и тоски к утехам наслажденья!
Веселья нет еще, и нет уже мученья;
Отчаянье прошло... Но, слезы осушив,
Ты радостно на свет взглянуть еще не смеешь
И матери своей, Печали, вид имеешь.

Бежишь, скрываешься от блеска и людей,
И сумерки тебе милее ясных дней.
Безмолвие любя, ты слушаешь унылый
Шум листьев, горных вод, шум ветров и морей.
Тебе приятен лес, тебе пустыни милы;
В *уединении* ты более с собой.
Природа мрачная твой нежный взор пленяет:
Она как будто бы печалится с тобой.
Когда светило дня на небе угасает,
В задумчивости ты взираешь на него.
Не шумная весна любезная веселость,
Не лета пышного роскошный блеск и зрелость
Для грусти твоя приятнее всего,
Но осень бледная, когда, изнемогая
И томною рукой венки свой обрывая,
Она кончины ждет. Пусть веселится свет
И счастье грубое в рассеянии новом
Старается найти: тебе в нем нужды нет;
Ты счастлива мечтой, одною мыслью — словом!
Там музыка гремит, в огнях пылает дом;
Блещут красотой, алмазами, умом, —
Там пиршество... но ты не видишь, не внимаешь
И голову свою на руку опускаешь;
Веселие твое — задумавшись, молчать
И на прошедшее взор нежный обращать.

БЕРЕГ

После бури и волнения,
Всех опасностей пути,
Мореходцам нет сомненья
В пристань мирную войти.

Пусть она и неизвестна!
Пусть ее на карте нет!
Мысль, надежда им прелестна
Там избавиться от бед.

Если ж взором открывают
На берегу друзей, родных,
«О блаженство!» — восклицают
И летят в объятья их.

Жизнь! ты море и волнение!
Смерть! ты пристань и покой!
Будет там соединенье
Разлученных здесь волной.

Вижу, вижу... вы маните
Нас к таинственным берегам! ..
Тени милые! храните
Место подле вас друзьям!

<1802>

ГИМН ГЛУПЦАМ

Блажен не тот, кто всех умнее —
Ах, нет! он часто всех грустнее, —
Но тот, кто, будучи глупцом,
Себя считает мудрецом!
Хвалю его! блажен стократно,
Блажен в безумии своем!
К другим здесь счастье превратно —
К нему всегда стоит лицом.

Ему ли ссориться с судьбою,
Когда доволен он собою?
Ему ль чернить сей белый свет?
По маслу жизнь его течет.
Он ест приятно, дремлет сладко;
Ничем в душе не оскорблен.
Как ночью кажется всё гладко,
Так мир для глупых совершен.

Когда другой с умом обширным,
Прослав философ всемирным,
Вздыхает, чувствуя, сколь он
Еще от цели удален;
Какими узкими стезями
Нам должно мудрости искать;

Как трудно слабыми очами
Неправду с правдой различать;

Когда Сократ, мудрец славнейший,
Но в славе всех других скромнейший,
Всю жизнь наукам посвятив,
Для них и жизни не щадив,
За тайну людям объявляет,
Что всё загадка для него
И мудрый разве то лишь знает,
Что он не знает ничего, —

Тогда глупец в мечте приятной
Нам хвалит ум свой необъятный:
«Ему подобных в мире нет!»
Хотите ль? звезды он сочтет
Вернее наших астрономов.
Хотите ль? он расскажет, как
Сияет солнце в царстве гномов,
И рад божиться вам, что так!

Боясь ступить неосторожно
И зная, как упасть возможно,
Смирненно смотрит вниз мудрец —
Глядит спесиво вверх глупец.
Споткнется ль, в яму упадая?
Нет нужды! встанет без стыда,
И, грязь с себя рукой стирая,
Он скажет: «Это не беда!»

С умом в покое нет покоя.
Один для имени героя

Рад мир в могилу обратить,
Для крестика без носа быть;
Другой, желая громкой славы,
Весь век над рифмами корпит;
Глупец смеется: «Вот забавы!»
И сам — за бабочкой бежит!

Ему нет дела до правлений,
До тонких, трудных умозрений,
Как страсти к благу обращать,
Людей учить и просвещать.
Царь кроткий или царь ужасный
Любезен, страшен для других —
Глупцы Нерону не опасны:
Нерон не страшен и для них.

Другим чувствительность — страданье,
Любовь не дар, а наказание:
Кто ж век свой прожил, не любя?
Глупец!.. он любит лишь себя,
И, следственно, любим не ложно;
Не ведает измены злой!
Другим грустить в разлуке должно, —
Он весел: он всегда с собой!

Когда, узнав людей коварных,
Холодных и неблагодарных,
Душою нежный человек
Клянется их забыть навек
И хочет лучше жить с зверями,
Чем жертвой лицемеров быть, —

Глупец считает всех друзьями
И шнит: «Меня ли не любить?»

Есть томная на свете мука,
Змея сердец; ей имя скука:
Она летает по земле
И плавает на корабле;
Она и с делом и с бездельем
Приходит к мудрым в кабинет;
Ни шумом светским, ни весельем
От скуки умный не уйдет.

Но счастливый глупец не знает,
Что скука в свете обитает.
Гремушку в руки — он блажен
Один среди безмолвных стен!
С умом все люди — Гераклиты
И не жалеют слез своих;
Глупцы же сердцем Демокриты:
Род смертных Арлекин для них!

Они судьбу благословляют
И быть умнее не желают.
Раскроем летопись времен:
Когда был человек блажен?
Тогда, как, думать не умея,
Без смысла он желудком жил.
Для глупых здесь всегда Астрея,
И век златой не проходил.

СТИХИ К ПОРТРЕТУ И. И. ДМИТРИЕВА

1

Министр, поэт и друг: я всё тремя словами
Об нем для похвалы и зависти скззал.
Прибавлю, что чинов и рифм он не искал,
Но рифмы и чины к нему летели сами!

1810 (?)

2

Он с честью был министр, со славою поэт;
Теперь для дружества и счастья живет.

1815

ТЕНЬ И ПРЕДМЕТ

Мы видим счастья тень в мечтах земного света;
Есть счастье где-нибудь: нет тени без предмета.

1822

*Стихотворение,
приписываемое
Н. М. Карамзину*

СИЛЬФИДА

Плавай, Сильфида, в весеннем эфире!
С розы на розу в весельи летай!
С нежного мирта в кристальный источник
На испещренный свой образ взирай!

Май твоей жизни да будет весь ясен!
Пчелка тебя никогда не пугай,
Там, где пиешь ты свой сладостный нектар,
Птица Цитерина мимо лети!

В Оркус низыдя, Сильфида, покойся
Кротко в Платоновом вечном венке!
Он возвещал утешение смертным,
Пише свободу, подобно тебе.

< 1791 >

И. И. ДМИТРИЕВ

Гимен и с ним Амур, всегда в восторге новом,
Веселый, миленький, и живчик одним словом,
Взяв за руки меня, подводят по цветам,
Разбросанным по всем местам,
К прекрасной девушке, боготворимой мною, —
Я завтра привезу портрет ее с собою, —
Владычица моя, в пятнадцатой весне,
Вручает розу мне;
Вокруг нее толпой забавы, игры, смехи;
Вдали ж, под миртами, престол любви, утехи,
Усыпан розами и весь почти в тени
Дерев, где ветерок заснул среди листочков...
Да! не забыть притом и страстных голубочков —
Вот слабый вам эскиз! Через два, четыре дни
Картина, думаю, уж может быть готова;
О благодарности ж моей теперь ни слова:
Докажет опыт вам — прощайте!» И — исчез.
Проходит ночь; с зарей, разлившей свет
с небес,
Художник наш за кисть — старается, трудится;
Что ко лбу перст, то мысль рождается,
И что черта,
То нова красота.
Уже творец картины
Свершил свой труд до половины,
Как вдруг
Почувствовал недуг,
И животворна кисть из слабых рук упала.
Минута между тем желанная настала:
Князь Ветров женится, хотя картины нет.
Уже он райские плоды во браке жнет;
Что день, то новый дар в возлюбленной княгине;

Мила, божественна, при всех и наедине.
Уж месяц брака их протек
И Апеллесову болезнь с собой увлек.
Благодаря судьбину,
Искусник наш с постели встал,
С усердием принялся дописывать картину
И в три дни дописал.
Божественный талант! изящное искусство!
Какой огонь! какое чувство!
Но полно, поспешим мы с нею к князю в дом.
Князь вышел в шлафроке, кахлучен колпаком,
И, сонными взглянув на живопись глазами:
«Я более, — сказал, — доволен был бы вами,
Когда бы выдумка была
Не столь игрива, весела.
Согласен я, она нежна, остра, прекрасна;
Но для женатого... уж слишком любострастна!
Не можно ли ее поправить как-нибудь?..
Какой мороз! моя ужасно терпит грудь;
Прощайте!» Апеллес, расставшись с сумасбродным,
Засел картину поправлять
С терпением. артисту сродным;
Иное в ней стирать, иное убавлять,
Соображая с последним князя вкусом.
Три месяца пробыв картина под искусом,
Представилась опять сиятельным глазам;
Но, ах! знать, было так угодно небесам:
Сиянье их совсем затмилось,
И уж почти ничто в картине не годилось.
«Возможно ль?.. Это я? —
Вскричал супруг почти со гневом, —

Вы сделали меня совсем уже Хоревом,¹
Уж слишком пламенным... да и жена моя
Здесь суцая Венера!
Нет, не прогневайтесь, во всем должна быть
мера!»

Так о картине князь судил,
И каждый день он в ней пороки находил.
Чем более она висела,
Тем более пред ним погрешностей имела;
Тем строже перебор от князя был всему:
Уже не взмились и грации ему,
Потом и одр любви, и миртовы кусточки;
Потом и нежные слетели голубочки;
Потом и смехи все велел закрасить он,
А наконец, увы! вспорхнул и Купидон.

1790

¹ Действующее лицо в трагедии г. Сумарокова.



К ТЕКУЩЕМУ СТОЛЕТИЮ ¹

⓪ век чудесностей, ума, изобретений!
Позволь пылинке пред тобой,
Наместо жертвоприношений,
С благоговением почтить тебя хвалою!
Который век достиг толь лучезарной славы?
В тебе исправилась испорченные нравы;
В тебе открылся путь свободный в храм наук;
В тебе родились Вольтер, Франклин и Кук,
Румянцовы и Вашингтоны;
В тебе и Естества познались законы;
В тебе счастливейши Икары, презря страх,
Полет свой к небу направляют;
В воздушных странствуют мирах
И на земле опять без крыл себя являют.
Но паче мне всего приятно помышлять,
Что начали в тебе и деньги уж летать.
О чудо! О мои прапращуры почтенны!
Поверите ли в том вы внучку своему,
Что медь и золото, став в бумажку превращены,
Летят чрез тысячу и больше верст к нему?
Он тленный лоскуток бумаги получает,
И вдруг от всех забот себя освобождает.

¹ Автор писал сие, получая через почту деньги.

Уже и Шмитов он с терпеньем сносит взор;
Не слышит совести докучливой укор;
Не видит более в желаниях препоны:
Пьет кофе, может есть чрез час и макароны.

< 1791 >

МОДНАЯ ЖЕНА

Ах, сколько я в мой век бумаги исписал!
Той песню, той сонет, той лестный мадригал;
А вы, о нежные мужья под сединою!
Ни строчкой не были порадованы мною.
Простите в том меня; я молод, ветрен был,
 Так диво ли, что вас забыл?
А ныне вяну сам; на лбу моем морщины
 Велят уже и мне
 Подобной вашей ждать судьбины
 И о Цитерской стороне
Лишь в сказках вспоминать; а были, небылицы,
Я знаю, старикам разглаживают лица:
Так слушайте меня, я сказку вам начну
 Про модную жену.

Пролаз в течение полвека
Всё полз, да полз, да бил челом,
И наконец таким невинным ремеслом
Дополз до степени известна человека,
То есть стал с именем, — я говорю ведь так,
 Как говорится в свете:
То есть стал ездить он шестеркою в карете;
 Потом вступил он в брак
С пригожей девушкой, которая жить умела,

Была умна, ловка
 И старика
 Вертела как хотела;
 А старикам такой закон,
 Что если кто из них вскружит себя вертушкой,
 То не она уже, а он
 Быть должен наконец игрушкой;
 Хоть рад, хотя не рад,
 Но поступать с женою в лад
 И рубль подчас считать полушкой.
Пролаз хотя пролаз, но муж, как и другой.
 И так же, как и все, ценою дорогой
 Платил жене за нежны ласки;
 Узнал и он, что блонды, каски,
 Что креп, лино-батист, тамбурна кисея.
 Однажды быв жена — вот тут беда моя!
 Как лучше изъяснить, не приберу я слова —
 Не так чтобы больна, не так чтобы здорова,
 А так... ни то ни се... как будто не своя,
 Супругу говорит: «Послушай, жизнь моя,
 Мне к празднику нужна обнова:
 Пожалуй, у мадам Бобри купи тюрбан;
 Да слушай, душенька: мне хочется экран
 Для моего камина;
 А от нее ведь три шага
 До английского магазина;
 Да если б там еще... нет, слишком дорога!
 А ужась как мила!» — «Да что, мой свет,
 такое?» —
 «Нет, папенька, так, так, пустое...
 По чести, мне твоих расходов жаль». —
 «Да что, скажи, откройся смело;

Расходы знать мое, а не твое уж дело». —

«Меня... стыжусь... пленила шаль;
Послушай, ангел мой! она такая точно,
Какую, помнишь ты, выписывал нарочно
Князь для княгини, как у князя праздник был».

С последним словом прыг на шею
И чок два раза в лоб, примолвя: «Как ты
мил!» —

«Изволь, изволь, я рад со всей моей душею

Услуживать тебе, мой свет! —

Был мужнин ей ответ. —

Карету!.. Только вряд успеть уж мне к обеду!
Да я... в Дворянский клуб оттоле заверну». —

«Ах, мой жизнечек! как тешишь ты жену!
Ступай же, Ваничка, скорее». — «Еду, еду!»

И Ваничка седой,

Простясь с женою молодой,
В карету с помощью двух долгих слуг втащился,
Сел, крикнул, покатился.

Но он лишь со двора, а гость к нему на двор —

Угодник дамский, *Миловзор*,

Взлетел на лестницу и прямо порх к уборной.

«Ах! я лишь думала! как мил!» — «Слуга
покорный». —

«А я одна». — «Одне? тем лучше! где же он?» —

«Кто? муж?» — «Ваш нежный Купидон». —

«Какой, по чести, ты ругатель!» —

«По крайней мере я всех милых обожатель.

Однако ж это ведь не ложь,

Что друг мой на него хоть несколько похож». —

«То есть он так же стар, хотя не так
прекрасен». —

«Нет! Я вам докажу». — «О! этот труд
напрасен». —
«Без шуток, слушайте: тот слеп, а этот крив;
Не сходны ли ж они?» — «Ах, как ты
злоречив!» —

«Простите, перестану. . .

Да! покажите мне диванну:
Ведь я еще ее в отделке не видал;
Уж, верно, это храм! храм вкуса». —
«Отгадал». —

«Конечно, и. . . любви?» — «Увы! еще не знаю.
Угодно поглядеть?» — «От всей души желаю».

О бедный муж! спеш иль после не тужи
И от дивана ключ в кармане ты держи:

Диван для городской вострушки,

Когда на нем она сам-друг,

Опаснее, чем для пастушки

Средь рощицы зеленый луг.

И эта выдумка диванов,

По чести, мечь нам от султанов!

Но как ни рассуждай, а Миловзор уж там,

Рассматривает всё, любит, дивится;

Амур же, прикорнув на столике к часам,

Приставил к стрелке перст, и стрелка

не вертится,

Чтоб двум любовникам часов досадный бой

Не вспоминал того, что скоро возвратится

Вулкан домой.

А он — как *в руку сон!* . . Судьбы того хотели!

На тяжких вереях ворота заскрипели,

Бич хлопнул, и супруг с торжественным лицом

Явился на конях усталых пред крыльцом.

Уж он на лестнице, таща в руках попку,
Торопится свою обрадовать голубку;
Уж он и в комнате, а верная жена
Сидит, не думая об нем, и не одна.
Но вы, красавицы, одной с *Премилой* масти.
Не ахайте об ней и успокойте дух!
Ее пенаты с ней, так ей ли ждать напасти?
Фиделька резвая, ее надежный друг,
 Которая лежала,
 Свернувшись клубком
 На солнышке перед окном,
Вдруг встрепенулася, вскочила, побежала
 К дверям и, как разумный зверь,
Приставила ушко, потом толк лапкой в дверь,
 Ушла и возвратилась с лаем.
Тогда ж другой пенат, зовомый попугаем,
Три раза вестовой из клетки подал знак,
 Вскричавши: «Кто пришел? дурак!»
Премила вздрогнула, и *Миловзор* подобно;
 И тот и та — о время злобно!
 О непредвиденна беда! —
 Бросаясь туда, сюда.
 Решились так, чтоб ей остаться,
А гостю спрятаться хотя позадь дверей, —
 О женщины! могу признаться,
 Что вы гораздо нас хитрей!
Кто мог бы отгадать, чем кончилась тревога?
Муж, в двери выставя расцветшие два рога,
Вошел в диванную и видит, что жена
Вполглаза на него глядит сквозь тонка сна;
 Он ближе к ней — она проснулась,
 Зевнула, потянулась;

Потом,
Простерши к мужу руки:
«Каким же, — говорит ему, — я крепким сном
Заснула без тебя от скуки!
И знаешь ли, что мне
Привиделось во сне?
Ах! и теперь еще в восторге утопаю!
Послушай, миленький! лишь только засыпаю,
Вдруг вижу, будто ты уж более не крив;
Ну, если этот сон не лжив?
Позволь мне испытать». — И вмиг, не дав супругу
Прийти в себя, одной рукой
Закрывает глаз ему — здоровый, не кривой, —
Другую же на дверь указывая другу,
Пролазу говорит: «Что, видишь ли, мой свет?»
Муж отвечает: «Нет!» —
«Ни крошечки?» — «Нимало;
Так тёмно, как теперь, еще и не бывало». —
«Ты шутишь?» — «Право, нет; да дай ты мне
взглянуть».
«Прелестная мечта! — Лукреция вскричала, —
Зачем польстила мне, чтоб после обмануть!
Ах! друг мой, как бы я желала,
Чтобы один твой глаз
Похож был на другой!» — Пролаз,
При нежности такой, не мог стоять болваном;
Он сам разнежился и в радости души
Супругу наградил и шалью, и тюрбаном.
Пролаз! ты этот день во святцах запиши:
Пример согласия! Жена и муж с обновой!
Но что записывать? Пример такой не новый.

ЧУЖОЙ ТОЛК

Что за диковинка? Лет двадцать уж прошло,
Как мы, напрягши ум, наморщивши чело,
Со всеусердием всё оды пишем, пишем.
А ни себе, ни им похвал нигде не слышим!
Ужели выдал Феб свой именной указ,
Чтоб не дерзал никто надеяться из нас
Быть Флакку, Рамлеру и их собратьи равным
И столько ж, как они, во песнопеньи славным?
Как думаешь? .. Вчера случилось мне сличать
И их и нашу песнь: в их... нечего читать!
Листочек, много три, а любо, как читаешь —
Не знаю, как-то сам как будто бы летаешь!
Судя по краткости, уверен, что они
Писали их резвясь, а не четыре дни;
То как бы нам не быть еще и их счастливей,
Когда мы во сто раз прилежней, терпеливей?
Ведь наш начнет писать, то все забавы прочь!
Над парюю стихов просиживает ночь,
Потеет, думает, чертит и жжет бумагу;
А иногда берет такую он отвагу,
Что целый год сидит над одою одной!
И подлинно уж весь приложит разум свой!
Уж прямо самая торжественная ода!
Я не могу сказать, какого это рода,

Но очень полная, иная в двести строф!
Судите ж, сколько тут хороших есть стихов!
К тому ж, и в правилах: сперва прочтешь
вступленье,

Тут предложение, а там и заключенье —
Точь-в-точь как говорят учены по церквам!
Со всем тем нет читать охоты, вижу сам.
Возьму ли, например, я оды на победы,
Как покорили Крым, как в море гибли шведы:
Все тут подробности сраженья нахожу,
Где было, как, когда, — короче я скажу:
В стихах реляция! прекрасно!.. а зеваю!
Я, бросивши ее, другую раскрываю,
На праздник иль на что подобное тому:
Тут найдешь то, чего б нехитрому уму
Не выдумать и век: *зари багряны персты,*
И райский крин, и Феб, и небеса отверсты!
Так громко, высоко!.. а нет, не веселит,
И сердца, так сказать, ничуть не шевелит!»

Так дедовских времен с любезной простотою
Вчера один старик беседовал со мною.
Я, будучи и сам товарищ тех певцов,
Которых действию дивился он стихов,
Смутился и не знал, как отвечать мне должно;
Но, к счастью — ежели назвать то счастьем
можно,

Чтоб слышать и себе ужасный приговор, —
Какой-то Аристарх с ним начал разговор.

«На это, — он сказал, — есть многие причины;
Не обещаю их открыть и половины,

А некоторые вам охотно объявлю.
Я сам язык богов, поэзию, люблю,
И нашей, как и вы, утешен так же мало;
Однако ж здесь, в Москве, толкался я, бывало,
Меж наших Пиндаров и всех их замечал:
Большая часть из них — лейб-гвардии капрал,
Ассессор, офицер, какой-нибудь подьячий
Иль из кунсткамеры антик, в пыли ходячий,
Уродов страж, — народ всё нужный, должностной;
Так часто я видал, что истинно иной
В два, в три дни рифму лишь прибрать едва
успеет,

Затем что в хлопотах досуга не имеет.
Лишь только мысль к нему счастливая придет,
Вдруг было шесть часов! уже карета ждет;
Пора в театр, а там на бал, а там к Лиону,¹
А тут и ночь... Когда ж захватить к Аполлону?
Назавтра, лишь глаза откроет, — уж билет:
На пробу в пять часов... Куда же? В модный
свет,

Где лирик наш и сам взял Арлекина ролю.
До оды ль тут? Тверди, скажи два раза
к Кролю;²

Потом опять домой: здесь холься да рядись;
А там в спектакль, и так со днем опять
протись!

К тому ж, у древних цель была, у нас другая:
Гораций, например, восторгом грудь питая,

¹ Бывший содержатель в Петербурге вольных маскер-
радов.

² Петербургский портной.

Чего желал? О! он — он брал не с высока,
В веках бессмертия, а в Риме лишь венка
Из лавров иль из мирт, чтоб Делия сказала:
«Он славен, чрез него и я бессмертна стала!»
А наших многих цель — награда перстеньком,
Нередко сто рублей иль дружество с князьком,
Который отроду не читывал другого,
Кроме придворного подчас месяцеслова,
Иль похвала своих приятелей; а им
Печатный всякий лист быть кажется святым.
Судя ж, сколь разные и тех, и наших виды,
Наверно лъзя сказать, не делая обиды
Ретивым господам, питомцам русских муз,
Что должен быть у них и особый вкус
И в сочинении лирической поэмы
Другие способы, особые приемы;
Какие же они, сказать вам не могу,
А только объявлю — и, право, не солгу, —
Как думал о стихах один стихотворитель,
Которого трудов «Меркурий» наш и «Зритель»,¹
И книжный магазин, и лавочки полны.
«Мы с рифмами на свет, — он мыслил, —
рождены;

Так не смешно ли нам, поэтам, согласиться
На взморье в хижину, как Демосфен, забиться,
Читать да думать всё, и то, что вздумал сам,
Рассказывать одним шумящим лишь волнам?
Природа делает певца, а не ученье;
Он не учась учен, как придет в восхищенье;
Науки будут всё науки, а не дар;

¹ Петербургские журналы.

Потребный же запас — отвага, рифмы, жар». И вот как писывал поэт природный оду: Лишь пушек гром подаст приятну весть народу, Что Рымникский Алкид поляков разгромил, Иль Ферзен их вождя Костюшку полонил, Он тотчас за перо и разом вывел: *Ода!* Потом в один присест: *такого дня и года!* «Тут как? .. Пою! .. Иль нет, уж это старина! Не лучше ль: *Даждь мне, Феб!* .. Иль так: *Не ты одна*

Попала под пяту, о чалмоносна Порта! Но что же мне прибрать к ней в рифму, кроме черта?

Нет, нет! нехорошо; я лучше поброжу И воздухом себя открытым освежу». Пошел и на пути так в мыслях рассуждает: «Начало никогда певцов не устрашает; Что хочешь, то мели! Вот штука, как хвалить Героя-то придет! Не знаю, с кем сравнить? С Румянцовым его, иль с Грейгом, иль с Орловым?

Как жаль, что древних я не читывал! а с новым —

Неловко что-то всё. Да просто напишу: *Ликуй, Герой! ликуй, Герой ты!* возглашу. Изрядно! Тут же что! Тут надобен восторг! Скажу: *Кто завесу мне вечности расторг?* *Я вижу молний блеск! Я слышу с горня света И то, и то...* А там? .. известно: *многи лета!* Брависсимо! и план, и мысли всё уж есть! Да здравствует поэт! осталось присесть, Да только написать, да и печатать смело!»

Бежит на свой чердак, чертит, и в шляпе дело!
И оду уж его тисненью предают,
И в оде уж его нам ваксу продают!
Вот как пиндарил он, и все ему подобны,
Едва ли вывески надписывать способны!
Желал бы я, чтоб Феб хотя во сне им рек:
«Кто в громкий славою Екатеринин век
Хвалой ему сердец других не восхищает
И лиры сладкою слезой не орошает,
Тот брось ее, разбей, и знай: он не поэт!»

Да ведает же всяк по одам мой клевет,
Как дерзостный язык бесславил нас, ничтожил,
Как лириков ценил! Воспрянем! Марсий ожил!
Товарищи! к столу, за перья! отомстим,
Надуемся, напрём, ударим, поразим!
Напишем на него предлинную сатиру
И оправдаем тем российску громку лиру.

Обманывать и льстить —
Вот все на разум правы!
Ах! как не возопить:
«О времена! о нравы!»

Друг только что в глазах,
Любовницы лукавы
И верны на словах —
О времена! о нравы!

Сын идет в дом сирен
Вкушать любви отравы;
Там тятя, старый хрен! —
О времена! о нравы!

Вдовы́ от глада мрут,
А театральны павы
С вельможей дань берут —
О времена! о нравы!

За слово и за взгляд
Текут ручьи кровавы;
Друг друга все едят —
О времена! о нравы!

Не полно ли, друзья?
Вам шутки и забавы,
А ведь ответчик я —
О времена! о нравы!

< 1796 >

**ПУТЕШЕСТВИЕ Н. Н. В ПАРИЖ И ЛОНДОН,
ПИСАННОЕ ЗА ТРИ ДНИ ДО ПУТЕШЕСТВИЯ**

Часть первая

Друзья! сестрицы! я в Париже!
Я начал жить, а не дышать!
Садитесь вы друг к другу ближе
Мой маленький журнал читать:
Я был в Лицее, в Пантеоне,
У Бонапарта на поклоне;
Стоял близехонько к нему,
Не веря счастью моему.
Вчера меня князь Долгоруков
Представил милой Рекамьс;
Я видел корпус мамелюков,
Сиеса, Вестриса, Мерсье,
Мадам Жанлис, Виже, Пикара,
Фонтана, Герля, Легуве,
Актрису Жорж и Фиеве;
Все тропки знаю бульвара,
Все магазины новых мод;
В театре всякий день, оттоле
В Тиволи и Фраскати, в поле.
Как весело! какой народ!

Как счастлив я! — итак, простите!
Простите, милые! и ждите
Из области наук, искусств
Вы с первой почтой продолженья,
Истории без украшения,
Идей моих и чувств.

Часть вторая

Против окна в шестом жилье,
Откуда вывески, кареты,
Всё, всё — и в лучшие лорнеты
С утра до вечера во мгле,
Ваш друг сидит еще не чесан,
И на столе, где кофь стоит,
«Меркюр» и «Монитор» разбросан,
Афишей целый пук лежит:
Ваш друг в свою отчизну пишет;
А Журавлев уж не услышит!
Вздых сердца! долети к нему!
А вы, друзья, за то простите
Кое-что нраву моему;
Я сам готов, когда хотите,
Признаться в слабостях моих;
Я, например, люблю, конечно,
Читать мои куплеты вечно,
Хоть слушай, хоть не слушай их;
Люблю и странным я нарядом.
Лишь был бы в моде, щеголять;
Но словом, мыслью, даже взглядом
Хочу ль кого я оскорблять?

Я, право, добр! и всей душою
Готов обнять, любить весь свет!..
Я слышу стук!.. никак за мною?
Так точно, наш земляк зовет
На ужин к нашей же — прекрасно!
Сегюр у ней почти всечасно:
Я буду с ним, как счастлив я!
Пришла минута и моя!
Простите! время одеваться,
Через месяц, два — я, может статься,
У мачты буду поверять
Виргилиеву грозну бурю;
А если правду вам сказать,
Так я глаза мои защурую
И промыслу себя вручу.
Как весело! лечу! лечу!

Часть третья

Валы вздувались горами,
Сливалось море с небесами,
Ревели ветры, гром гремел,
Зияла смерть, а N. N. цел!
А N. N. ваш в коротком фракке,
В Вестминстере свернувшись в ком,
Пред урной Попа бьет челом;
В ладоши хлопает на скачке,
Спокойно смотрит сквозь очков
На стычку Питта с Шериданом,
На бой задорных петухов
Иль дога с яростным кабаном:

Я в Лондоне, друзья, и к вам
Уже объятья простираю —
Как всех увидеть вас желаю!
Сегодня на корабль отдам
Все, все мои приобретения
В двух знаменитейших странах!
Я вне себя от восхищенья!
В каких явлюсь к вам сапогах!
Какие фраки! панталоны!
Все му новейшие фасоны!
Какой прекрасный выбор книг!
Считайте — я скажу вам вмиг:
Бюффон, Руссо, Мабли, Корнилий,
Гомер, Плутарх, Тацит, Виргилий,
Весь Шакеспир, весь Поп и Гюм;
Журналы Аддисона, Стиля...
И всё Дидота, Баскервиля!
Европы целой собрал ум!
Ах, милые, с каким весельем
Всё это будем разбирать!
А иногда я между дельем
Журнал мой стану вам читать:
Что видел, слышал за морями,
Как сладко жизнь моя текла,
И кончу тем, обнявшись с вами:
А родина... всё нам мила!

Примечания <автора>

¹ Представил милой Рекамье. Рекамье — жена парижского банкира, прославившаяся красотой своей.

² *Сиеса, Вестриса, Мерсье.* Первый — сенатор, игравший в революцию важную роль; второй — славный танцовщик, а третий — давно известный писатель.

³ *Мадам Жанлис, Виже, Пикара.* Первая — сочинительница романов и нескольких книг о воспитании; второй — приятный стихотворец; последний — лучший комический писатель нынешнего времени.

⁴ *Фонтана, Герля, Лезуве.* Три известные стихотворца.

⁵ *Актрису Жорж и Фиеве.* Последний — сочинитель прекрасного романа и писем об Англии.

⁶ *В Тиволи и Фраскати, в поле.* Так называются два гульбища.

⁷ *А Журавлев уж не услышит.* Почтенный старик, который незадолго перед тем умер и дружен был с путешественником.

⁸ *В Вестминстере и проч.* Для некоторых напомню, что в этом аббатстве издавна погребаются короли и славные мужи.

⁹ *И всё Дидота, Баскервиля.* Также для некоторых: Дидот — славный французский типографщик, а Баскервиль — англинский.

БУДОЧНИК

Слушай всякий, кто с ушами,
Чтоб недаром я кричал.
Ночь усеяна звездами;
Било час, второй настал.

Спи, кашей, одним ты глазом,
А другим гляди востро:
Вор уж в сѣнях; он как разом
Всё утащит серебром.

Вместе ль ты, сосед, с женою?
Не кладися на запор:
Лезет гость к тебе трубою;
Черт на вымыслы провор.

Эй, рифмач! храпеть не дело
Над бумагой со свечой:
Долго ль вспыхнуть? Всё сгорело!
Так и мне беда с тобой.

Частный! Слышишь ли, как вою,
Исполняя твой приказ?
Если нет, так я утрою
Для тебя в последний раз:

Слушай всякий, кто с ушами,
Чтоб не даром я кричал;
Темна ночь храпит над нами;
Било час, второй настал.

1806 или 1807

Песни

Стонет сизый голубочек,
Стонет он и день и ночь;
Миленький его дружочек
Отлетел надолго прочь.

Он уж боле не воркует
И пшенички не клюет;
Всё тоскует, всё тоскует
И тихонько слезы льет.

С нежной ветки на другую
Перепархивает он
И подружку дорогую
Ждет к себе со всех сторон.

Ждет ее... увы! но тщетно,
Знать, судил ему так рок!
Сохнет, сохнет неприметно
Страстный, верный голубок.

Он ко травке прилегает;
Носик в перья завернул;
Уж не стонет, не вздыхает;
Голубок... навек уснул!

Вдруг голубка прилетела,
Приуныв, издалека,
Над своим любезным села,
Будит, будит голубка;

Плачет, стонет, сердцем ноя,
Ходит милого вокруг —
Но... увы! прелестна Хлоя!
Не проснется милый друг!

<1792>

Ах! когда б я прежде знала,
Что любовь родит беды,
Веселясь бы не встречала
Полуночные звезды!
Не лила б от всех украдкой
Золотого я кольца;
Не была б в надежде сладкой
Видеть милого льстеца!

К удалению удара
В лютой, злой моей судьбе,
Я слила б из воска яра¹
Легки крылышки себе
И на родину вспорхнула
Мила друга моего;
Нежно, нежно бы взглянула
Хоть однажды на него.

А потом бы улетела
Со слезами и тоской;
Подгорюнившись бы села
На дороге я большой;

¹ Эта песня есть точное подражание старинной простонародной песне.

Возрыдала б, возопила:
Добры люди! как мне быть?
Я неверного любила...
Научите не любить.

< 1792 >

Тише, ласточка болтлива!
Тише, тише; полно петь!
Ты с зарею вновь счастлива, —
Ах! а мне пришло терпеть.
Я расстаться должен с милой
На заре, к моим слезам...
О луна! твой свет унылый
Краше солнышка был нам!

Тише, ласточка болтлива!
Тише, тише; полно петь!
Ты с зарею вновь счастлива, —
Ах! а мне пришло терпеть.
Знать, и сонная мечтала
О любви ты своей:
Ты к утехам рано встала,
А я к горести моей!

Тише, ласточка болтлива!
Тише, тише; полно петь!
Ты с зарею вновь счастлива, —
Ах! а мне пришло терпеть.
О, когда б и ты имела
Участь, равную со мной!
Ты б молчала, а не пела
И встречала день с тоской.
<1792>

Без друга и без милой
Брожу я по лугам;
Брожу с душой унылой
Один по берегам.
Там те же всё встречаю
Кусточки и цветки,
Но, ах! не облегчаю
Ничем моей тоски!

Срываю я цветочек
И в мыслях говорю:
«Кому сплести веночек?
Кого им подарю?»
Со вздохом тут катится
Из сердца слезный ток,
И из руки валится
Увядший в ней цветок.

Во времена счастливы,
Бывало в жаркий день,
Развесистые ивы,
Иду я к вам под тень.
Пошлете ль днесь отраду
Вы сердцу моему?
Ах! сладко и прохладу
Вкушать не одному!

Всё, всё постыло в мире!
И персты уж мои
Не движутся на лире,
Лишь слез текут струи.
Престань же петь, несчастный!
И лиру ты разбей;
Не слышен голос страстный
Душе души твоей!

1793

Видел славный я дворец
Нашей матушки-царицы;
Видел я ее венец
И золотые колесницы.

«Всё прекрасно!» — я сказал
И в шалаш мой путь направил:
Там меня мой ангел ждал,
Там я Лизаньку оставил.

Лиза, рай всех чувств моих!
Мы не знатны, не велики;
Но в объятиях твоих
Меньше ль счастлив я владыки?

Царь один веселий час
Миллионом покупает;
А природа их для нас
Вечно даром расточает.

Пусть певцы не будут плесть
Мне похвал кудрявым складом:
Ах! сравню ли я их лесть
Милой Лизы с нежным взглядом?

Эрмитаж мой — огород,
Скипетр — посох, а Лизета —
Моя слава, мой народ
И всего блаженство света!

<1794>

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! ¹ припевай.

Мил, любезен василечек —
Рви, доколе он цветет;
Солнце зайдет, и цветочек...
Ах! увянет, опадет!

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! припевай.

Соловей не умолкает,
Свищет с утра до утра:
Другу милому, он знает,
Петь одна в году пора.

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! припевай.

¹ Известный припев одной из цыганских песен.

Кто, быв молод, не смеялся,
Не плясал и не певал,
Тот ничем не наслаждался;
В жизни не жил, а дышал.

Пой, скачи, кружись, Параша!
Руки в боки подпирай!
Мчись в веселии, жизнь наша!
Ай, ай, ай, жги! припевай.

<1795>

Всех цветочков боле
Розу я любил;
Ею только в поле
Взор мой веселил.

С каждым днем милее
Мне она была;
С каждым днем алее,
Всё как вновь цвела.

Но на счастье прочно
Всяк надежду кинь:
К розе, как нарочно,
Привилась голынь.

Роза не увяла —
Тот же самый цвет;
Но не та уж стала:
Аромата нет!..

Хлоя! как ужасен
Этот нам урок!
Сколь, увы! опасен
Для красы порок!

<1795>

Други! время скоротечно,
И не видишь, как летит!
Молодыми быть не вечно;
Старость вмиг нас посетит.
Что же делать? так и быть,
В ожиданьи будем пить.

Пусть арак ума убавит
Между нас у остряков!
Он сердца зато заставит
Говорить без колких слов.
Лучший способ дружно жить —
Меньше врать, а больше пить.

Посмотрите, как уныла
Вся природа на земли:
Осень рощи обнажила.
Ах! и розы отцвели.
Как же грусть нам усладить?
Чаще пунш с араком пить.

О арак, арак чудесный!
Ты весну нам возвратил;

Ты согрел, как май прелестный,
Щеки розами покрыл.
Чем же нам тебя почитать?
Вдвое, втрое больше пить.

< 1795 >

Куда мне, сердце страстно,
Куда с тобой бежать?
Здесь должен я всечасно
Печаль мою скрывать.

Друзья мои пеняют,
Что я всегда уныл:
Увы! они не знают,
Таков ли прежде был.

Ах! некогда на лире
И я, резвясь, играл;
И я путь скромный в мире
Цветами устилал!

О, грустно вспоминанье!
Не медлим ни часа,
Пойдем сокрыть стенанье
В дремучие леса!

Там горестью глубокой
Никто не укорит;
Ни имени жестокой
При мне не повторит.

Пускай один с тобою
Я буду горевать;
И непрестанно Хлою
Винить — и обожать.

< 1795 >

Что с тобою, ангел, стало?
Не слышать твоих речей;
Всё вздыхаешь! а бывало,
Ты поешь, как соловей.

«С милым пела, говорила,
А без милого грущу;
Поневоле приуныла:
Где я милого сыщу?»

Разве милого другого
Не найдешь из пастушков?
Выбирай себе любого,
Всяк тебя любить готов.

«Хоть царевич мной прельстится,
Всё я буду горевать!
Сердце с сердцем подружится —
Уж не властно выбирать».

<1796>

Всё ли, милая пастушка,
Всё ли бабочкой порхать?
Узы сердца не игрушка:
Тяжело их разрывать!

Ах! по мне и вчуже больно
Видеть горесть пастушка!
Любишь милое невольно!
Любишь прямо — не слегка!

Будь в любовной ты науке
Ученицею моей:
Я с Филлидой и в разлуке,
А она мне всех милей.

<1805>

*Лирические
стихотворения
и послания*

СЧЕТ ПОЦЕЛУЕВ

Прелестна Лизанька! на этом самом поле,
Под этой липою ты слово мне дала
Сто поцелуев дать; но только сто, не боле.
Ах, Лиза! видно, ты ввек страстной не была!
Дай сто, дай тысячу, дай тьму, — всё будет мало
Для сердца, что к тебе любовью воспылало!
Послушай, Лизанька: который из богов
На расточение был скуп своих даров?
Благотворить, не зная пределов, вот их мера!
 Считала ли Церера
 Все класы, коими она
 Чело природы украшает,
 Когда ее обогащает?
И Флора милая, с которой ты сходна
 Приятностью, красою,
 Не щедрою ль, скажи, рукою
Кидает на землю душистые цветы?
Иль нежного возьми в пример Зефира ты:
 Он вечно росписи не знает
Всем розам, кои здесь в кусточках лобызает.

По капле ль падает небесная вода
Для освежения полей, лугов от зною?

Не правда ли, что иногда
Юпитер льет ее рекою?

Жалела ль для цветов своих Аврора слез?
Нет! мир свидетель в том, что жители небес
И худо, и добро — всё сыплют к нам без меры.

А ты, совместница Венеры,
Которой сын ее вручил такую власть,
Что взглядом можешь в нас рождать бессмертну
страсть,
Ты, Лиза, ты теперь... ах! может ли то случиться?
Ты хочешь холодной быть и с богом сим
считаться!

Жестокая! скажи, считал ли я хоть раз,
Сколь много пролил слез отчаянья из глаз;
Сколь часто, посреди восторгов и желаний,
Я сердце надрывал от вздохов и стонаний?
Сочти все горести, стеснявшие мне грудь,
И после ты сама судьбою нашим будь.
Но нет! смешаем всё, и радости и муки;
Пади, любезная, пади в мои ты руки!
Позволь, чтоб я тебя без счета целовал
За столько, столько слез... которых не считал.

Я

У мен ли я, никем еще в том не уверен;
Пороков не терплю, а в слабостях умерен;
Немножко мотоват, немножко я болтлив;
Немножко лгу, но лгу не ко вреду другого,
Немножко и колю, но не от сердца злого,
Немножко слаб в любви, немножко в ней

стыдлив

И пред любовницей немножко боязлив.
Но кто без слабостей? .. Итак, надеюсь я,
Что вы, мои друзья,
Не будете меня за них судить строго.
Немножко дурен я, но вас люблю я много.

<1791>

ПРОХОЖИЙ И ГОРЛИЦА

Пр о х о ж и й

Что так печально ты воркуешь на кусточке?

Г о р л и ц а

Тоскую по моем дружочке.

Пр о х о ж и й

Неужель он тебе, неверный, изменил?

Г о р л и ц а

Ах, нет! стрелок его убил.

Пр о х о ж и й

Несчастливая! страшись и ты его руки!

Г о р л и ц а

Что нужды! ведь умру ж с тоски.

<1791>

КАРИКАТУРА

Сними с себя завесу,
Седая старина!
Да возведу я внукам
Что ты откроешь мне.

Я вижу чисто поле;
Вдали ж передо мной
Чернеет колокольня
И вьется дым из труб.

Но кто вдоль по дороге,
Под шляпой в колпаке,
Трях-трях, а инде рысью,
На старом рыжаке,

В изодранном колете,
С котомкой в тороках?
Палаш его тяжелый,
Тащась, чертит песок.

Кто это? — Бывший вахмистр
Шешминского полку,
Отставку получивший
Через двадцать службы лет.

Уж он в версте, не боле,
От родины своей;
Все жилки в нем взыграли
И сердце расцвело!

Как будто в мир волшебный
Он ведьмой занесен;
Всё, всё его прельщает,
В восторг приводит дух.

И воздух будто чище,
И травка зеленей,
И солнышко светлее
На родине его.

«Узнает ли Груняша? —
Ворчал он про себя. —
Когда мы расставались,
Я был еще румян!

Ступай, рыжак, проворней!» —
И шпорою кольнул;
Ретивый конь пустился,
Как из лука стрела.

Уж витязь наш проехал
Околицу с гумном —
И вот уж он въезжает
На свой господский двор.

Но что он в нем находит?
Его ль жилище то?

Весь двор заглох в крапиве!
Не видно никого!

Лубки прибиты к окнам,
И на дверях запор;
Всё тихо! лишь на кровле
Мяучит тощий кот.

Он с лошади слезает,
Идет и в дверь стучит —
Никто не отвечает!
Лишь в щелку ветр свистит.

Заныло веще сердце,
И дрожь его взяла;
Побрел он, как сиротка,
Нахохляся, назад.

Но робкими ногами
Спустился лишь с крыльца,
Холоп его усердный
Представился ему.

Друг друга вмиг узнали —
И тот, и тот завыл.
«Терентьич! где хозяйка?» —
Помещик спросил.

«Охти, охти, боярин! —
Ответствовал старик, —
Охти!» — и, скорчась, слезы
Утер своей полшой.

«Конечно, в доме худо! —
Мой витязь возопил. —
Скажи, не дай томиться:
Жива иль нет жена?»

Терентьич продолжает:
«Хозяюшка твоя
Жива иль нет, бог знает!
Да здесь ее уж нет!

Пришло тебе, боярин,
Всю правду объявить:
Попутал грех лукавый
Хозяюшку твою.

Она держала пристань
Недобрым молодцам;
Один из них пойман
И на нее донес.

Тотчас ее схватили
И в город увезли;
Что ж с нею учинили,
Узнать мы не мѡгли.

Вот пятый год в исходе —
Охти нам! — как об ней
Ни слуха нет, ни духа,
Как канула на дно».

Что делать? как ни больно...
Но вечно ли тужить?

Несчастный муж поплакал,
Женился на другой.

Сей витязь и поныне,
Друзья, еще живет;
Три года, как в округе
Он земским был судьей

1791

К ХЛОЕ

Дрожащею рукою
За лиру я берусь,
Хочу, хочу петь Хлою,
Но в сердце я мятусь.

Какой мне ждать награды
За мой, о Хлоя! стих?
Но, ах! быть другом правды
Есть должность лет моих.

В сей день тебе свершилась
Тридцатая весна —
Увы! еще затмилась
Зараза с ней одна!

Еще одна морщина
Прибавилась к другим —
О прелестей кончина!
В тебе-то смерть мы зрим.

Ах! кстати вы, морозы
Декабрьские, пришли.
Уже поблекли розы,
Что на щеках цвели.

И лилия желтеет
У Хлои на грудях,
Хотя зефир и веет
Еще в ее кудрях.

Амуры, утирая
Ручонкою глаза,
Уж вьются, воздыхая,
Под светлы небеса.

А грации, гордяся
Бессмертной красотой,
В насмешку ей, резвяся,
Кричат: «О время! стой!»

Но ты... зевнула, Хлоя?
И мне уже невмочь, —
Так скажем же мы двое
Друг другу: *добра ночь!*

<1792>

НАСЛАЖДЕНИЕ

Всяк в своих желаньях волен —
Лавры! вас я не ищу;
Я и мирточкой доволен,
Коль от милой получу.

Будь мудрец светилом мира,
Будь герой вселенной страх, —
Рано ль, поздно ли, Темира,
Всяк истлеет, будет прах!

Розы ль дышат над могилой
Иль полынь на ней растет, —
Всё равно, о друг мой милый!
В прахе чувства я уж нет.

Прочь же. скука! прочь, забота!
Вспламеняй, любовь, ты нас!
Дни текут без поворота;
Дорог, дорог каждый час!

Может быть, в сию минуту,
Милый друг, всемогущий рок
Посылает парку люту
Дней моих прервати ток.

Ах! почто же медлить боле
И с тоскою ждать конца?
Насладимся мы, доколе
Бьются в нас еще сердца!

1792

СТАНСЫ К Н. М. КАРАМЗИНУ

«Прочь от нас, Катон, Сенека,
Прочь, угрюмый Эпиктет!
Без утех для человека
Пуст, несносен был бы свет.

Младость дважды не бывает.
Счастлив тот, который в ней
Путь цветами устилает,
Не предвидя грозных дней».

Так мою настроя лиру
И призвав одну из муз,
Дружбу, сердце и Темиру,
С ними пел я мой союз.

Пел, не думая о славе,
Не искав ничьих похвал:
Лишь друзей моих к забаве
Лиру я с стены снимал.

Всё в глазах моих играло,
Я в волшебной был стране:
Солнце ярче луч бросало
И казалось Фебом мне.

В роще ль голос разольется
Сладкопевца-соловья —
Сердце вмиг во мне забьется:
Филомелу вспомню я.

С нею вместе унываю,
И доволен, что грущу!..
Но почто я вспоминаю
То, чего уж не сыщу?

Утро дней моих затмилось
И опять не расцветет;
Сердце с счастьем протислось
И мечтой весенних лет.

Резвый нежных муз питомец,
Друг и смехов, и утех,
Ныне им как незнакомец
И собой пугает всех.

Осужден, к несносной скуке,
Грусть в самом себе таить —
Ах! и с другом быть в разлуке,
И от дружбы слезы лить!..

О любимый сын природы,
Нежный, милый наш певец!
Скоро ль отческие воды
Нас увидят, наконец?

Скоро ль мы на Волгу кинем
Радостный, сыновний взор,

Всех родных своих обнимем
И составим братский хор?

С нами то же, что со цветом:
Был — и нет его чрез день.
Ах, уклонимся ж хоть летом¹
Древ домашних мы под гень.

Скажем им: «Древа! примите
Вы усталых пришлецов
И с приятнью обнимите
В них друзей и земляков!

Было время, что играли
Здесь под тенью мы густой, —
Вы цветете... мы увяли!
Дайте старости покой».

1793

¹ Т. е. в лето жизни нашей.

**К Ф. М. ДУБЯНСКОМУ,
СОЧИНИВШЕМУ МУЗЫКУ НА ПЕСНЮ „ГОЛУБОК“**

Нежный ученик Орфея!
Сколь меня ты одолжил!
Ты, смычком его владея,
Голубка мне возвратил.

Бедный сизый Голубочек
Долго всеми был забвен;
Лишь друзей моих веночек
Голубку был посвящен.

Вдруг навеяли зephyры,
Где лежал он, на лужок,
Глас твоей волшебной лиры —
И воскреснул Голубок!

Он вспорхнул и очутился
Милой грации в руках:
На клавир ее спустился
И запрыгал на струнах.

Я глядел и сомневался,
Точно ль он передо мной:
Мне пригожей показался
И милей Голубчик мой!

1793

К А. Г. СЕВЕРИНОЙ
НА ВЫЗОВ ЕЕ НАПИСАТЬ СТИХИ

Ах, когда бы в древни веки
Я с тобой, Филлида, жил!
Например, мы были б греки;
Как бы я тебя хвалил!

Под румяным, ясным небом
В благовонии цветов,
Оживленных кротким Фебом,
Между миртовых кустов —

Посреди тебя с супругом
Сел бы твой Анзкреон
И, своим упрощен другом,
Стал бы лиру строить он.

Вы б и гости замолчали,
Чтоб идеи мне скопить,
И малютки б перестали
Пестру бабочку ловить.

Как в саду твоём порхала
В мае пчелка по цветам,

Так рука б моя летала
Резвой лиры по струнам.

Там бы каждый мне цветочек
К пенью мысли подавал:
Милый, скромный василечек
Твой бы нрав изображал.

Я твою бы миловидность
И стыдливость применил
К нежной розе; а невинность
С белой лилией сравнил.

Ты б растрогалась, вскочила —
Я уверен точно в том —
И певца бы наградила
Поцелуем и венком.

Но, увы! мой ум мечтает;
Сколь далек я от Афин!
Здесь не Флора обитает,
А Мороз, Бореев сын!

< 1794 >

К ПРИЯТЕЛЮ

(с дачи)

Льстивый друг моей цевницы!
Вот стихи тебе — прочти:
Недалеко от столицы,
К Петергофу на пути,
Есть китайская лачуга,
Иль, учтивее, — *пагод*;
Там без милой и без друга
Не китайский *бог* — *урод*,
А к жрецу его подходит...
Добрый друг своих друзей
Дни смирнехонько проводит,
Не боясь лихих людей.
Он тебя с любезным братом
На обед к себе зовет;
Ни фарфором он, ни златом
Перед вами не блеснет,
Но Усердие вас примет,
Дружба скажет: «В добрый час!»
Смела Искренность обнимет
И за стол посадит вас,

А Веселость по стакану
Поднесет чего-нибудь. . .
Ах! не худо быть и пьяну;
Всё вздыхать — устанет грудь.

<1795>

К Ю. А. НЕЛЕДИНСКОМУ-МЕЛЕЦКОМУ

Заведен в лесок тоскою
На свободе погрузить,
Вспомянуть прелестну Хлою
И слезу из глаз пролить, —
Я твою услышал лиру,
Милый наш Анакреон!
Ты бесстрастну пел Темиру
И пускал из сердца стон.

«Дайте, боги, — я воскликнул, —
Мне Нелединского дар!
Верно б Хлои грудь кроникнул
Мой, увы, несчастный жар!»
Кто с тобою не восстонет,
Нежный, пламенный певец?
Ах, твой глас и камень тронет,
У тебя лишь ключ сердец!

< 1795 >

МАДРИГАЛЫ

1

По чести, от тебя не можно глаз отвести;
Но что к тебе влечет?.. загадка непонятна!
Ты не красавица, я вижу... а приятна!
Ты б лучше быть могла; но лучше так, как есть.
<1795>

2

Задумчива ли ты, смеешься иль поешь,
О Хлоя милая! ты всем меня прельщаешь:
Часам ты крылья придаешь,
А у любви их похищаешь.
<1795>

ПОСЛАНИЕ К Н. М. КАРАМЗИНУ

Не скоро ты, мой друг, дождешься песней новых
От музы моея! Ни фавны рош дубовых,
Ни нимфы диких гор и бархатных лугов.
Ни боги светлых рек и тихих ручейков
Не слышали еще им незнакомой лиры.
Под мраком грозных туч играют ли зефиры?
Поет ли зяблица, как бури заревут
И с гибкого куста гнездо ее сорвут?
До песней ли и мне под гнетом рока злого?
Еще дымится пепл отеческого крова,
Еще смущенна мысль всё бродит в тех местах,
Недавно где земле навеки предан прах,
Прах старца,¹ для меня толико драгоценна!

Каких же песней ждять от сердца огорченна?
Печальных. Но почто мне грациям скучать,
Когда твой нежный глас их будет *услаждать*?
Пускай они твое Послание² читают
И розовый венок любимцу соплетают;
Пускай Херасков, муж, от детства чтимый мной,
То в мир фантазии путь кажет за собой,

¹ Автор лишился тогда родного своего дяди, П. А. Бекетова.

² Послание к женщинам.

То к райским красотам на небо восхищает,
То на цветущий брег Пеня провождает
И, даже в зиму дней умом еще цветя,
Манит на лирный глас крылатое дитя
И с кротостью влечет, нежнейших чувств

владелец,

Любить поэзию, себя и добродетель.
Пускай Державин всех в восторг приводит дух;
Пускай младый герой, к нему склоняя слух,
Пылает и дрожит, и ищет алчным взглядом
Копья, чтобы лететь потрясть землей и адом.

Притворства и в стихах казать я не хочу:
Поется мне — пою; невесело — молчу
И слушаю других, иль, взявши посох в руку,
В полях и по горам рассеиваю скуку;
Разнообразности природы там дивлюсь
И сколки слабые с нее снимать учусь.
Как волжанин, люблю близ вод искать прохлады;
Люблю с угрюмых скал гремящи водопады;
Люблю и озера спокойный, гладкий вид,
Когда его стекло вечерний луч златит.
А временем идя — куда, и сам не зная —
Чрез холмы, чрез леса, не видя сеням края
Под сводом зелени, вдруг на свет выхожу
И новую для глаз картину нахожу:
Открытые поля под золотою нивой!
Везде блестят серпы в руке трудолюбивой!
Какой приятный шум! какая пестрота!
Здесь взрослый, тут старик, с ним рядом
красота;

Кто жнет, кто вяжет сноп, кто подбирает класы;

*

А дети между тем, амуры светловласы,
Украдкой по снопу, играючи, берут,
Кряхтят под ношею, друг друга ею прут,
Валяются, встают и, усмотря цветочек,
Все врознь к нему летят, как майский ветерочек.
Ах! я и сам готов за ними вслед лететь!
Уже недолго мне и на цветы смотреть:
Уже я с каждым днем чего-нибудь лишаюсь.
Иду под тень кустов — ступлю и возвращаюсь
С поникшей головой: там нет уж соловья!
Сегодня у пруда остановился я:
И ласточки над ним кружились, вились,
И серы облака по небесам неслись.
Ах! скоро, милый друг, неистовый Эол
Помчится на крылах шумящих с гор на дол,
Завоет, закрутит, кусты к земле приклонит,
Свинцовые валы на озеро нагонит,
В пещерах заревет и засвистит в дуплах
И с воздухом смесит и листвя, и прах:
День, два — и, может быть, цветочка не застану;
День, два — и, может быть... как знать? ..
и сам увяну!

А. Г. СЕВЕРИНОЙ В ДЕНЬ ЕЕ РОЖДЕНИЯ

Вступая в новый год, любезная Климена,
Не бойся, чтоб в судьбе твоей произошла
Какая перемена;
Ты будешь всегда приятна и мила,
И лет твоих считать друзья твои не станут:
Душой прекрасные не вянут.

1798

ПОСЛАНИЕ
Б АРКАДИЮ ИВАНОВИЧУ ТОЛБУГИНУ

Друг изящного в природе
И судья а ля козак,
Поперек идущий моде,
Неприятель всяких врак;
Муз и музыки любитель,
Голубков, дроздов гонитель,
Грубый скиф по бороде,
Нежный Орозман душою,
Не по светскому покрою,
Одинаковый везде;
Не ханжа и не ласкатель,
О любезный созерцатель
В банях бабьей красоты!
Плюнь на светски суеты,
О поклонниче Заиры!
И склонись на голос лиры,
Почитающей тебя.
Дай увидеть мне себя
На свободе, в чистом поле;
Сделай честь ты хлебу-соле
Нового в лесу жильца.
Покажись — и хоры птичек,
Соловьев, дроздов, синичек,

Все, увидя мудреца,
Встрепенувшись крылами,
Громко-звонко запоют
И мне весточку дадут,
Что Аркадий милый с нами!

Между 1795 и 1800

К ДРУЗЬЯМ МОИМ
ПО СЛУЧАЮ ПЕРВОГО СВИДАНИЯ С НИМИ ПОСЛЕ МОЕЙ
ОТСТАВКИ ИЗ ОБЕР-ПРОКУРОРОВ ПР. СЕНАТА

В Москве ль я наконец? со мною ли друзья?
О, радость и печаль! различных чувств
смешенье!

Итак, еще имел я в жизни утешенье
Внимать журчанию домашнего ручья,
Вкусить покойный сон под кровом, где родился,
И быть в объятиях родителей моих!
Не сон ли был и то?.. Увидел и простился
И, может быть, уже в последний видел их!
Но полно, этот день не помрачим тоскою.
Где вы, мои друзья? Сбегитесь предо мною;
Дай каждый мне себя сто раз поцеловать!
Прочь посох! не хочу вас боле покидать,
И вот моя рука, что буду ваш отныне.

Сколь часто я в шуму веселий воздыхал,
И вздохи бедного терялись, как в пустыне,
И тайной грусти в нем никто не замечал!
Но ежели ваш друг, во дни разлуки слезной,
Хотя однажды мог подать совет полезный,
Спокойствие души вдовице возвратить,
Наследье сироты от хищных защитить,

Спасти невинного, то всё позабывает —
Довольно: друг ваш здесь и вас он обнимает.

Но буду ли, друзья, по-прежнему вам мил?
Увы! уже во мне жар к пению простыл;
Уж в мыслях нет игры, исчезла прежняя
живость!

Простите ль... иногда мою вы молчаливость,
Мое уныние? — Терпите, о друзья!
Терпите хоть за то, что к вам привязан я;
Что сердце приношу чувствительно, незлобно
И более еще ко дружеству способно.
Теперь его ничто не отвратит от вас,
Ни честолюбие, ни блеск прелестных глаз...
И самая любовь навеки отлетела!
Итак, владейте впредь вы мною без раздела;
Питайте страсть во мне к изящному всему
И дайте вновь полет таланту моему.
Означим остальной наш путь еще цветами!
Где нет коварных ласк с притворными словами,
Где сердце на руке,¹ где разум не язвит,
Там друг ваш и поднесь веселья не бежит.
Так, братья, данные природой мне и Фебом!
Я с вами рад еще в саду, под ясным небом,
На зелени в кустах душистых пировать;
Вы станете своих любезных воспевать,
А я... хоть вашими дарами восхищаться.
О други! я вперед уж весел! может статься,
Пример ваш воскресит и мой погибший дар.
О, если б воспылал во мне пермесский жар,

¹ Древние представляли дружбу в образе женщины, держащей на ладони сердце.

С какую б радостью схватил мою я лиру
И благ моих творца всему поведал миру!
Да будет счастье и слава вечно с ним!
Ему я одолжен пристанищем моим,
Где солнце дней моих в безмолвьи закатится
И мой последний взор на друга устремится.

1800

СУПРУЖНЯЯ МОЛИТВА

Один предобрый муж имел обыкновенье,
Вставая ото сна и отходя ко сну,

Такое приносить моление:

«Хранитель ангел мой! спаси мою жену!

Не дай упасть ей в искушение!

А ежели уж я... не дай про то мне знать!

А если знаю я, то дай мне не видать!

А если вижу я, даруй ты мне терпенье!»

<1803>

ПУТЕШЕСТВИЕ

Начать до света путь и ощупью идти,
На каждом шаге спотыкаться;
К полдням уже за треть дороги перебраться;
Тут с бурей и грозой бороться на пути,
Но льстить себя вдали какою-то мечтою;
Опомнясь, под вечер вздохнуть,
Искать пристанища к покою,
Найти его, прилечь и наконец уснуть...
Читатели! загадки в моде;
Хотите ль ключ к моей иметь?
Всё это значит в переводе:
Родиться, жить и умереть.

<1803>

К МАШЕ

Я не архангел Гавриил,
Но, воспоен пермесским током,
От Аполлона быть пророком
Сыздетства право получил.
Итак, внимай, новорожденна,
К чему ты здесь определена:
Ты будешь маменьке с отцом
Отрадой, счастьем, утешеньем,
Любезна пола украшеньем
И в добронравьи образцом;
Ты будешь без красы приятна,
Без блеска острых слов умна,
Без педантизма учена,
Почтенна и без рода знатна,
И без кокетства всем мила,
Какою маменька была, —
Вот мой урок и похвала,
Едва ли не впоследствии пета!..

Когда ты, Маша, расцветешь,
Вступая в юношески лета,
Быть может, что стихи найдешь —
Конечно, спрятанны ошибкой, —
Прочтешь их с милою улыбкой

И спросишь: «Где же мой поэт?
В нем дарования приметны».
Услышишь, милая, в ответ:
«Несчастные недолголетны;
Его уж нет!»

< 1803 >

СТАНСЫ

Я счастлив был во дни невинности беспечной,
Когда мне бог любви и в мысль не приходил;
О возраст детских лет! почто ты был не вечный?
Я счастлив был.

Я счастлив был во дни волшебств, очарований,
Когда любовью свет и красен лишь, и мил;
Дождуся ли опять толь сладостных мечтаний?
Я счастлив был.

Я счастлив был во дни надежды, уверенья,
Когда Кларисы взгляд меня животворил;
Одни желанья уж были наслажденья!
Я счастлив был.

Я счастлив был во дни восторгов непрерывных
И сердцу милых бурь! Как я тогда любил!
Увы! тогда не пел я в песнях заунывных:
Я счастлив был.

1803 (?)

К Г. Р. ДЕРЖАВИНУ¹

Бард безымянный! тебя ль не узнаю?
Орлий издавна знаком мне полет.
Я не в отчизне, в Москве обитаю,
В жилище сует.

Тщетно поэту искать вдохновений
Тамо, где враны глушат соловьев;
Тщетно в дубравах здесь бродит мой гений
Близ светлых ручьев.

Тамо встречает на каждом он шаге
Рдяных сатиров и Вакховых жриц,²
Скачущих с воплем и плеском в отваге
Вкруг древних гробниц.

Гул их эвое³ несется вдоль рощи,
Гонит пернатых скрывать в кустах;

¹ Это был ответ на стихи, присланные в «Вестник Европы». Почтенный автор их, не подписавший своего имени, думал, что я в деревне, и пенял мне за мою лень.

² Здесь описаны цыгане и цыганки, которые во все лето промышляют в Марьиной роще песнями и пляскою.

³ Эвое, или эван, был употребительный припев вакханок при отправлении их оргий. Это примечание для детей, не знающих еще мифологии.

Даже далече наводит средь ночи
На путника страх.

О Песнопевец! один ты способен
Петь и под шумом сердитых валов,
Как и при ниве, — себе лишь подобен —
Языком богов!

1804

ЛЮБЛЮ И ЛЮБИЛ

Люблю — есть жизнью наслаждаться,
Возможным счастьем упиваться,
Всех чувств в обвороженьи быть.
Любил же — значит: *полно жить!*
Яснее: испытать собою,
Что клятвы — слов каких-то звон;
Что нежность — хитрости игрою;
Невинность — маска; счастье — сон!

< 1805 >

В. В. ИЗМАЙЛОВУ

Что ты требуешь, Измайлов, от меня?
Как! мне, лишенному поэзии огня,
В глубокой старости забытому Парнасом,
Пугать и вкус, и слух своим нестройным гласом!
Увы! всему пора: и я был молод, пел;
С восторгом на венок Карамзина смотрел
И состязался с ним, как с другом, в песнопеньи...
Его уж нет! Теперь душа моя в томленьи
Глядит на кипарис, глядит на небеса
И ждет в безмолвии свидания часа.

<1827>

НА КОНЧИНУ ВЕНЕВИТИНОВА

Природа вновь цветет, и роза негой дышит!
Где ж юный наш певец? — увы! под сей доской;
А старость дряхлая дрожащею рукой
Ему надгробье пишет!

1827

В АЛЬБОМ Г-ЖИ ИВАНЧИНОЙ-ПИСАРЕВОЙ

Счастливый Писарев! Мне ль, старцу, близ
могилы
В альбоме грации страницу занимать
Между молодых певцов?.. Но грации так милы!
Любимец их так добр!.. Не смею отказать.

1836

Драматическая поэма

ЕРМАК

Какое зрелище пред очи
Представила ты, Древность, мне?
Под ризою угрюмой ночи,
При бледной в облаках луне,
Я зрю Иртыш: крутит, сверкает,
Шумит и пеной подмывает
Высокий берег и крутой;
На нем два мужа изнуренны,
Как тени, в аде заключенны,
Сидят, склонясь на длань главой;
Единый млад, другой с бородой
Седую и до чресл висящей;
На каждом вижу я наряд,
Во ужас сердце приводящий!
С булатных шлемов их висят
Со всех сторон хвосты змеины,
И веют крылья совины;
Одежда из звериных кож;
Вся грудь обвешана ремнями,
Железом ржавым и кремнями;
На поясе широкий нож;

А при стопах их два тимпана
И два повержены копья:
То два сибирские шамана,
И их словам внимаю я.

С т а р е ц

Шуми, Иртыш, реви ты с нами
И вторь плачевным голосам!
Навек отвержены богами!
О, горе нам!

М л а д ы й

О, горе нам!
О, страшная для нас невзгода!

С т а р е ц

О ты, которая венец
Поддерживали три народа,¹
Гремевши мира по конец, —
О сильна, древняя держава!
О мать нескольких племен!
Прошла твоя, исчезла слава!
Сибирь! и ты познала плен!

М л а д ы й

Твои народы расточенны,
Как вихрем возмятенный прах,
И сам Кучум,² гроза вселенны,
Твой царь, погиб в чужих песках!

¹ Татары, остяки и вогуличи.

² Кучум из царства своего ушел к калмыкам и убит ими.

Старец

Священные твои шаманы
Скитаются в глуши лесов.
На то ль судили вы, шайтаны,¹
Достигнуть белых мне волос,
Чтоб я, столетний ваш служитель,
Стенал и в прахе, бывши зритель
Паденья тысяч ваших чад?

Младый

И от кого ж, о боги! пали?

Старец

От горсти русских!.. Мор и глад!
Почто Сибирь вы не пожрали?
Ах, лучше б трус, потоп иль гром
Всемощны на нее послали,
Чем быть попоранной Ермаком!

Младый

Бичом и ужасом природы!..
Кляните вы его всяк час,
Сибирски горы, холмы, воды:
Он вечный мрак простер на вас!

Старец

Он шел, как столп, огнем палящий,
Как лютый мраз, всё вокруг мертвящий!
Куда стрелу ни посылал —
Повсюду жизнь пред ней бледнела
И страшна смерть вослед летела!

¹ Сибирские кумиры.

М л а д ы й

И царский брат пред ним упал.

С т а р е ц

Я зрел с ним бой Мегмета-Кула,¹
Сибирских стран богатыря:
Рассыпав стрелы все из тула
И вящим жаром возгоря,
Извлек он саблю смертоносу.
«Дай лучше смерть, чем жизнь поносну
Влачить мне в плене!» — он сказал —
И вмиг на Ермака напал.
Ужасный вид! они сразились!
Их сабли молнией блещут,
Удары тяжкие творят,
И обе разом сокрушились.
Они в ручной вступили бой:
Грудь с грудью и рука с рукой;
От вопля их дубравы воют;
Они стопами землю роют;
Уже с них сыплет пот как град;
Уже в них сердце страшно бьется,
И ребра обоих трещат:
То сей, то оный на бок гнется;
Крутятся, и — Ермак сломил!
«Ты мой теперь!» — он возопил, —
И всё отныне мне подвластно!»

¹ Царский брат, которого Ермак пленил и отослал к царю Иоанну Васильевичу; от него произошли князья Сибирские.

М л а д ы й

Сбылось пророчество ужасно!
Пленил, попрали Сибирь Ермак!..
Но что? ужели стон сердечный
Гонимых будет...

С т а р е ц

Вечный! вечный!

Внемли, мой сын: вчера во мрак
Глухих лесов я углубился
И тамо с пламенной душой
Над жертвою богам молился.
Вдруг ветер восстал и поднял вой;
С деревьев листья полетели;
Столетни кедры заскрыпели,
И вихрь закланых серн унес!
Я пал и слышу глас с небес:
«Неукротим, ужасен *Раца*,¹
Когда казнит вселенну он.
Сибирь, отвергша мой закон!
Пребудь вовек, стоная, плача,
Рабыней *белого царя!*
Да светлая тебя заря
И черна ночь в цепях застанет;
А слава грозна Ермака
И чад его вовек не вянет
И будет под луной громка!»
Умолкнул глас, и гром трикратно
Протек по бурным небесам...

¹ Главный остяцкий идол. Кучум, родившийся в магметанской вере, частью уговорил, частью принудил большую половину Сибири верить Алкорану.

Увы! погибли невозвратно!
О, горе нам!

М л а д ы й
О, горе нам!

Потом с глубоким сердца вздохом,
Восстав с камней, обросших мохом,
И сняв орудия с земли,
Они вдоль берега потекли
И вскоре скрылися в тумане.

Мир праху твоему, Ермак!
Да увенчают россияне
Из золота вылитый твой зрак,
Из ребр Сибири источенна
Твоим булатным копием!
Но что я рек, о тень забвенна!
Что рек в усердии моем?
Где обелиск твой? — Мы не знаем,
Где даже прах твой был зарыт.
Увы! он вепрем попираем,
Или остяк по нем бежит
За ланью быстрой и рогатой,
Прицелясь к ней стрелой пернатой.
Но будь утешен ты, герой!
Парящий стихотворства Гений
Всяк день, с Авророю златой,
В часы божественных явлений,
Над прахом плавает твоим
И сладку песнь гласит над ним:

«Великий! Где б ты ни родился,
Хотя бы в варварских веках
Твой подвиг жизни совершился;
Хотя б исчез твой самый прах;
Хотя б сыны твои, потомки,
Забыв деянья предка громки,
Скитались в дебрях и лесах
И жили с алчными волками, —
Но ты, великий человек,
Пойдешь в ряду с полубогами
Из рода в род, из века в век;
И славы луч твоей затмится,
Когда померкнет солнца свет,
Со треском небо развалится
И время на косу падет!»

ПРИЧУДНИЦА

В Москве, которая и в древни времена
Прелестными была обильна и славна, —
Не знаю подлинно, при коем государе,
А только слышал я, что русские бояре
Тогда уж бросили запоры и замки,
Не запирали жен в высоки чердаки,
 Но, следуя немецкой моде,
Уж позволяли им в приятной жить свободе;
 И светская тогда жена
 Могла без опасенья
 С домашним другом, иль одна,
И на качелях быть в день света воскресенья,
И в кукольный театр от скуки завернуть,
И в роще Марьиной под тенью отдохнуть, —
В Москве, я говорю, *Ветрана* процветала.
 Она пригожеством лица,
 Здоровьем и умом блистала;
 Имела мать, отца;
Имела лестну власть щелчки давать супругу;
Имела, словом, всё: большой гесовый дом,
С берлинами сарай, изрядную услугу,
Гуслиста, карлицу, шутов и дур содом

И даже двух сорок, которые болтали
Так точно, как она, — однако ж меньше знали.
Ветрана куколкой всегда разряжена

И каждый день окружена
Знакомыми, родней и нежными сердцами;
Но все они при ней казались быть льстецами,
Затем, что всяк из них завидовал то ей,

То цугу вороных коней,
То парчевому ее платью,

И всяк хотел бы жить с такою благодатью.
Одна *Ветрана* лишь не ведала цены
Всех благ, какие ей фортуною даны;
Ни блеск, ни дружество, ни пляски, ни забавы,
Ни самая любовь — ведь есть же на свету

Такие чудны нравы! —

Не трогали мою надменну красоту.
Ей царствующий град казался пуст и скучен,

И всяк, кто ни был ей знаком,
С каким-нибудь да был пятном:

«Тот глуп, другой урод; тот ужасъ¹ неразлучен;
Сердечкин ноет всё, вздыханьем гонит вон;
Такой-то всё молчит и погружает в сон;

Та всё чинится, та болтлива;

А эта слишком зла, горда, самолюбива».

Такой отзыв ее знакомых всех отбил!

Родня и друг ее забыл;

Любовник разлюбил;

Приезд к пригоженькой неже

Час от часу стал реже, реже —

Осталась наконец лишь с гордостью одной:

¹ Слово, употребительное и поныне в губерниях.

Утешно ли кому с подругой жить такой,

Надутой, но пустой?

Она лишь пучит в нас, а не питает душу!

Пожалуй, я в глаза сказать ей то не струшу.

Итак, *Ветрана* с ней сначала ну зевать,

Потом уж и грустить, потом и тосковать,

И плакать, и гонцов повсюду рассылать

За крестной матерью; а та, извольте знать,

Чудесной силою неведомой науки

Творила на Руси неслыханные штуки! —

О, если бы восстал из гроба ты в сей час,

Драгунский витязь мой, о ротмистр Брамербас,

Ты, бывший столько лет в Малороссийском крае

Игралищем злых ведьм!.. Я помню как во сне,

Что ты рассказывал еще ребенку мне,

Как ведьма некая в сарае,

Оборотя тебя в драгунского коня,

Гуляла на хребте твоём до полуночи,

Доколе ты уже не выбился из мочи;

Каким ты ужасом разил тогда меня!

С какой, бывало, ты рассказывал размашкой.

В колете палевом и в длинных сапогах,

За круглым столиком, дрожащим с чайной

чашкой!

Какой огонь тогда пылал в твоих глазах!

Как волосы твои, седые с желтиною,

В природной простоте взвевали по плечам!

С каким безмолвием ты был внимаем мною!

В подобном твоему я страхе был и сам,

Стоял как вкопанный, тебя глазами мерил

И что уж ты не конь... еще тому не верил!

О, если бы теперь ты, витязь мой, воскрес,

Я б смелый был певец неслыханных чудес!
Не стал бы истину я закрывать под маску, —
Но, ах, тебя уж нет, и быль идет за сказку.
Простите! виноват! немного отступил;
Но, истинно, не я, восторг причиной был;
Однако я клянусь моим Пермесским богом,
Что буду продолжать обыкновенным слогом;
Итак, дослушайте ж. Однажды, вечером
Сидит, облокотясь, *Ветрана* под окном
И, возведя свои уныло-ясны очи
К задумчивой луне, сестрице смуглой ночи,
Грустит и думает: «Прекрасная луна!
Скажи, не ты ли та счастливая страна.

Где матушка моя ликует?
Увы! Неужель ей, которой небеса
Вручили власть творить различны чудеса,
Неведомо теперь, что дочь ее тоскует,
Что крестница ее оставлена от всех
И в жизни никаких не чувствует утех?
Ах, если бы она хоть глазки показала!
И с этой мыслью вдруг *Всеведа* ей предстала.
«Здорово, дитяtko! — *Ветране* говорит. —
Как поживаешь ты?.. Но что твой кажет вид?

Ты так стара! так похудела!
И, бывши розою, как лилия бледна!
Скажи мне, отчего так скоро ты созрела?
Откройся. . .» — «Матушка! — отвечает она, —
Я жизнь мою во скуке трачу;
Настанет день — тоскую, плачу;
Покроет ночь — опять грущу
И всё чего-то я ищу». —

«Чего же, светик мой? или ты нездорова?» —

«О нет, грешно сказать». — «Иль дом ваш
небогат?» —

«Поверьте, не хочу ни мраморных палат». —

«Иль муж обычая лихого?» —

«Напротив, вряд найти другого,

Который бы жену столь горячо любил». —

«Иль он не нравится?» — «Нет, он довольно
мил». —

«Так разве от своих знакомых беспокойна?» —

«Я более от них любима, чем достойна». —

«Чего же, глупенька, тебе недостает?» —

«Признаться, матушка, мне так наскучил свет

И так я всё в нем ненавижу,

Что то одно и сплю, и вижу,

Чтоб как-нибудь попасть отсель

Хотя за тридцать земель;

Да только, чтобы всё в глазах моих блистало,

Всё новостию поражило

И редкостью мой ум и взор;

Где б разных дивностей собор

Представил быль как небылицу...

Короче: дай свою увидеть мне столицу!»

Старуха хитрая, кивая головой,

«Что делать, — мыслила, — мне с просьбою
такой?»

Желанье дерзко... безрассудно,

То правда; но его исполнить мне нетрудно;

Зачем же дурочку отказом огорчить?..

К тому ж, я тем могу ее и поучить».

«Изрядно! — наконец сказала. —

Исполнится, как ты желала».

И вдруг, о чудеса!

И крестница, и мать взвились под небеса
 На лучезарной колеснице,
 Подобной в быстроте синице,
 И меньше, нежели в три мига,
Спустились в новый мир, от нашего отменный,
В котором трон весне воздвигнут неизменный!
В нем реки как хрусталь, как бархат берега,
Деревья яблонны, кусточки ананасны,
А горы все или янтарны иль топазы.
Каков же феин был дворец — признаться вам,
То вряд изобразит и Богданович¹ сам.
Я только то скажу, что все материалы
(А впрочем, выдаю я это вам за слух),
Из коих феин кум, какой-то славный дух,
Дворец сей сгромоздил, лишь изумруд, опалы,
 Порфир, лазурь, пироп, кристалл,
 Жемчуг и лалл,
Все, словом, редкости богатыя природы,
Какими свадебны набиты русски оды;
А сад — поверите ль? — не только описать
 Иль в сказке рассказать,
Но даже и во сне его нам не видать.
 Пожалуй, выдумать нетрудно,
 Но всё то будет мало, скудно,
Иль много-много, что во тьме кудрявых слов
Удастся Сарское село себе представить,
 Армидин сад иль Петергоф;
 Так лучше этот труд оставить
И дале продолжать. *Ветрана*, николи
Диковинок таких не видя на земли,

¹ Автор поэмы «Душенька».

Со изумленьем все предметы озирает
И мыслит, что мечта во сне над ней играет;
Войдя же в храмины чудесницы своей,
И пуше щурится: то блеск от хрусталей,
Сребристыя луны сражаяся с лучами,
Которые б почлись за солнечные нами,
Как яркой молнией слепит *Ветранин* взор;
То перламутр хрустит под ней или фарфор.
Ахти! Опять понес великолепный вздор!

Но быть уж так, когда пустился.
Итак, переступя один, другой порог,
Лишь к третьему пришли, богатый вдруг чертог
Не ветерком, но сам собою растворился!
«Ну, дочка, поживай и веселися здесь! —
Всеведа говорит. — Не только двор мой весь,
Но даже и духов подземных и воздушных,

Велениям моим послушных,
Даю во власть тзюю; сама же я, мой свет,
Отправлюся на мало время —
Ведь у меня забот беремя —
К сестре, с которою не виделась сто лет;
Она недалеко живет отсюда — в Коле;

Да по дороге уж оттоле
Зайду ч к брату я,
Камчатскому шаману.
Прощай, душа моя!

Надеюсь, что тебя довольнее застану».
Тут коврик-самолет она подостлала,
Ступила, свистнула и вмиг из глаз ушла,
Как будто бы и не была.

А удивленная *Ветрана*,
Как новая Диана,

Там миртовый кусток, там нежна мурава
От солнечных лучей, как бархат, отливаает;
Там речка по песку золотому протекает;
 Там светлого пруда на дне
 Мелькают рыбки зслотые;
Там птички гимн поют природе и весне,
 И попугаи голубые
 Со эхом взапуски твердят:
 «Ветрана! насыщай свой взгляд!»
 А к полдням новая картина:
 Сад превратился в храм,
Украшенный по сторонам
 Столпами из рубина,
 И с сводом в виде облаков
 Из разных в хрустале цветов.
 И вдруг от свода опустился
На розовых цепях стол круглый из сребра
 С такою ж пищей, как вчера,
 И в воздухе остановился;
 А под *Ветраной* очутился
 С подушкой бархатною трон,
 Чтобы с него ей кушать,
И пение, каким гордился б Амфион,
Тех нимф, которые вчера служили, слушать.
«По чести, это рай! Ну, если бы теперь, —
Ветрана думает, — подкрался в эту дверь...»
И, слова не скончав, в трюмо она взглянула —
 Сошла со трона и вздохнула!
Что делала потом она во весь тот день,
 Признаться, сказывать и лень,
И не умеется, и было бы некстате;
А только объявлю, что в этой же палате,

Иль в храме, как угодно вам,
Был и вечерний стол, приличный лишь богам,
И что наутро был день новых превращений
И новых восхищений;

А на другой день то ж. «Но что это за мир? —
Ветрана говорит, гармонии внимая
Висящих по стенам золотострунных лир, —
Всё эдак, то тоска возьмет и среди рая!
Всё чудо из чудес, куда ни поглядишь;
Но что мне в том, когда товарища не вижу?
Увы! я пуще жизнь мою возненавижу!
Веселье веселит, когда его делишь».

Лишь это вымолвить успела,
Вдруг набежала тьма, встал вихорь, грянул
гром,

Ужасна буря заревела;
Всё рушится, падет вверх дном,
Как не бывал волшебный дом;
И бедная *Ветрана*,
Бледна, безгласна, бездыханна,
Стремглав летит, летит, летит —
И где ж, вы мыслите, упала?
Средь страшных Муромских лесов,

Жилища ведьм, волков,
Разбойников и злых духов!

Ветрана возрыдала,

Когда, опомнившись, узнала,
Куда попалася она;

Все жилки с страха в ней дрожали!

Ночь адская была! ни звезды, ни луна
Сквозь черного ее покрова не мелькали;

Всё спит!

Лишь воеет ветер, лишь лист шумит,
Да из дупла в дупло сова перелетает,
И изредка в глуши кукушка занывает.
Сиротка думает, идти ли ей иль нет,
И ждать, когда луны забрезжит бледный свет?
Но это час воров! Итак, она решилась
Не мешкая идти; итак, перекрестилась,
Вздыхнула и пошла по вязкому песку
Со страхом и тоскою;
Бледнеет и дрожит, лишь ступит шаг ногою;
Там предвещает ей последний час *куку!*
Там леший выставил из-за деревьев роги;
То слышится *ау*; то вспыхнул огонек;
То ведьма кошкою бросается с дороги,
Иль кто-то скрылся за пенек;
То по лесу раздался хохот,
То вой волков, то конский топот.
Но сердце в нас вещун: я сам то испытал,
Когда мои стихи в журналы отдавал;
Недаром и Ветрана плачет!
Уж в самом деле кто-то скачет
С рогатиной в руке, с пищалью за плечьми.
«Стой! стой! — он гаркает, сверкаячи очьми, —
Стой! кто бы ты ни шел, по воле иль неволе;
Иль света не увидишь боле! ..
Кто ты?» — нагнав ее, он грозно продолжал;
Но видя, что у ней страх губы оковал,
Берет ее в охапку
И поперек кладет седла,
А сам, надвинув шапку.
Припав к луке, летит, как из лука стрела,
Летит, исполненный отваги,

Через холмы, горы и овраги
И, Клязьмы доскакав высоких берегов,
Бух прямо с них в реку, не говоря двух слов;
Ветрана ж: ах!.. и пробудилась —
Представьте, как она, взглянувши, удивилась!

Вся горница полна людей:
Муж в головах стоял у ней;
Сестры и тетушки вокруг ее постели

В безмолвии сидели;
В углу приходский поп молился и читал;
В другом углу колдун досужий¹ бормотал;
У шкафа ж за столом, вощанкою накрытым,
Прописывал рецепт хирургус из немчин,
Который по Москве считался знаменитым,
Затем что был один.

И всё собрание, Ветраны с первым взором:

«Очнулась!» — возгласило хором;

«Очнулась!» — повторяет хор;

«Очнулась!» — и весь двор

Запрыгал, заплясал, воскликнул: «Слава богу!
Боярыня жива! нет горя нам теперь!»

А в эту самую тревогу

Вошла Всеведа ь дверь

И бросилась к Ветране.

«Ах, бабушка! зачем явилась ты не ране? —

Ветрана говорит. — Где это я была?

И что я видела?.. Страх... ужас!» — «Ты спала,

А видела лишь бред, — Всеведа отвечает. —

Прости, — развеселясь, старуха продолжает, —

¹ В старину их называли *досужими*. См. Ядро Росс. истории кн Хилксва.

Прости мне, милая! Я видела, что ты
По молодости лет ударилась в мечты;
И для того, когда ты с просьбой приступила,
Трехсуточным тебя я сном обворожила
И в сновидениях представила тебе,
Что мы, всегда чужой завидуя судьбе
И новых благ желая,
Из доброй воли в ад влечем себя из рая.
Где лучше, как в своей родимой жить семье?
Итак, вперед страшишь ты покидать ее!
Будь добрая жена и мать чадолюбива,
И будешь всеми ты почтенна и счастлива».
С сим словом бросилась *Ветрана* обнимать
Супруга, всех родных и добрую *Всеведу*;
Потом все сродники приглашены к обеду;
Наехали, нашли и сели пировать.
Уж липец зашипел, всё стало веселее,
Всяк пьет и говорит, любуясь на бокал:
«Что матушки Москвы и краше, и милее?» —
Насилу досказал.

ИСКАТЕЛИ ФОРТУНЫ

Кто на своем веку Фортуны не искал?

Что, если б силою волшебною какою
Всевидающим я стал

И вдруг открылись предо мною
Все те, которые и едут, и ползут,

И скачут, и плывут,
Из царства в царство рыщут,
И дочери судьбы отменной красоты

Иль убегающей мечты
Без отдыха столь жадно ищут?

Бедняжки! жаль мне их: уж, кажется, в руках...

Уж сердце в восхищеньи бьется...
Вот только что схватить... хоть как, так

увернется,

И в тысяче уже верстах!

«Возможно ль, — многие, я слышу, рассуждают, —

Давно ль такой-то в нас искал?

А ныне как он пышен стал!

Он в счастья растет; а нас за грязь кидают!

Чем хуже мы его?» — Пусть лучше во сто раз,

Но что ваш ум и все? Фортуна ведь без глаз;

А к этому прибавим:

Чин стоит ли того, что для него оставим

Покой, покой души, дар лучший всех даров,
Который в древности уделом был богов?
Фортуна женщина: умерьте вашу ласку;
Не бегайте за ней, сама смягчится к вам.
Так милый Лафонтен давал советы нам
И сказывал в пример почти такую сказку.

В деревне ль, в городке,

Один с другим невдалеке,

Два друга жили;

Ни скудны, ни богаты были.

Один всё счастье ставил в том,

Чтобы нажить огромный дом,

Деревни, знатный чин — то и во сне лишь видел;

Другой богатств не ненавидел,

Однако ж их и не искал,

А каждую ночь покойно спал.

«Послушай, — друг ему однажды предлагает, —

На родине никто пророком не бывает;

Чего ж и нам здесь ждать? — со временем сумы.

Поедем лучше мы

Искать себе добра; войти, сказать умеем;

Авось, и мы найдем, авось, разбогатеем».

«Ступай, — сказал другой. —

А я остануся; мне дорог мой покой,

И буду спать, пока мой друг не возвратится».

Тщеславный этому дивится

И едет. На пути встречает цепи гор,

Встречает много рек, и напоследок встретил

Ту самую страну, куда издавна метил:

Любимый уголок Фортуны, то есть двор;

Не дожидаяся ни зову, ни наряду,

Пристал к нему и по обряду

Всех жителей его он начал посещать:
Там стрелкою стоит, не смея и дышать,
Здесь такает из всей он мочи,
Тут шепчет на ушко; короче: дни и ночи
Наш витязь сам не свой;
Но всё то было втуне!
«Что за диковинка! — он думает. — Стой, стой
Да слушай об одной Фортуне,
А сам всё ничего!

Нет, нет! такая жизнь несноснее всего.
Слуга покорный вам, господчики, прощайте,
И впредь меня не ожидайте;
В Сурат, в Сурат лечу! я слышал в сказках, там
Фортуне с давних лет курится фимиама...»
Сказал, прыгнул в корабль, и волны забелели.
Но что же? не прошло недели,
Как странствователь наш отправился в Сурат,
А часто, часто он поглядывал назад,
На родину свою: корабль то загорался,
То на мель попадал, то в хляби погружался;
Всечасно в трепете, от смерти на вершок;
Бедняк бесился, клял — известно, лютый рок,
Себя, — и всем, и всем изрядна песня петал!
«Безумцы! — он судил, — на край приходим

света

Мы смерть ловить, а к ней и дома три шага!»
Синеют между тем Индийски берега,
Попутный дунул ветер; по крайней мере кстате
Пришло мне так сказать, и он уже в Сурате!
«Фортуна здесь?» — его был первый всем вопрос.
«В Японии», — сказали.
«В Японии?» — вскричал герой, повеся нос. —

Быть так! плыву туда». — И поплыл; но,
к печали,

Разъехался и там с Фортуною слепой!
«Нет! полно, — говорит, — гоняться за мечтой».

И с первым кораблем в отчизну возвратился.

Завидя издали отеческих богов,

Родимый ручеек, дсмашний милый кров,

Наш мореходец прослезился

И, от души вздохнув, сказал:

«Ах! счастлив, счастлив тот, кто лишь по слуху
знал

И двор, и океан, и о слепой богине!

Умеренность! с тобой раздолье и в пустыне».

И так, с восторгом он и в сердце, и в глазах

В отчизну наконец вступает;

Летит ко другу, — что ж? как друга обретает?

Он спит, а у него Фортуна в головах!

КАЛИФ

Против Калифова огромного дворца
Стояла хижина, без кровли, без крыльца,
Издавна ветхая и близкая к паденью,
Едва ль приличная и самому смиренью.
Согбенный старостью ремесленник в ней жил;
Однако он еще по мере сил трудился,
Ни злых, ни совести нимало не страшился
И *тихим вечером* своим доволен был.
Но хижиной его Визирь стал недоволен:
«Терпим ли, — он своим рассчитывал умом, —
Вид бедности перед дворцом?
Но разве государь сломать ее не волен?
Подам ему доклад, и хижине не быть».
На этот раз Визирь обманут был в надежде.
Доклад подписан так: *«Быть по сему; но прежде
Строенье ветхое купить»*.
Послала Кадия с соседом торговаться;
Кладут пред ним на стол с червонцами мешок.
«Мне в деньгах нужды нет, — сказал им
простачок. —
А с домом ни за что не можно мне расстаться:
Я в нем родился, в нем скончался мой отец,
Хочу, чтоб в нем же бог послал и мне конец.
Калиф, конечно, самовластен.

И каждый подданный к нему подобострастен;
Он может при моих глазах
Развеять вмиг гнездо мое, как прах;
Но что ж последует? несчастным слезы в пищу;
Я всякий день приду к родиму пепелищу;
Воссяду на кирпич с поникшей головой
Небесного под кровом свода
И буду пред отцом народа
Оплакивать мой жребий злой!»
Ответ был Визирю до слова пересказан,
А тот спешит об нем Калифу донести.
«Тебе ли, государь, отказ такой снести?
Ужель останется раб дерзкий не наказан?»
Калифу говорил Визирь наедине.
«Да! — подхватил Калиф, — ответ угоден мне;
И я тебе повелеваю:
Впредь помня навсегда, что в правде нет вины,
Исправить хижину на счет моей казны;
Я с нею только жить в потомках уповаю;
Да скажет им дворец: такой-то пышно жил;
А эта хижина: он правосуден был!»

Басни

ПЧЕЛА, ШМЕЛЬ И Я

Шмель, рояся в навозе,
О хитрой говорил пчеле,
Сидевшей вдалеке на розе:
«За что она в такой хвале,
В такой чести у всех и моде?
А я пыхчу, пыхчу и пот свой лью
И также людям мед даю,
А всё как будто нуль в природе,
Никем не знаемый досель».
«И мне такая ж участь, Шмель! —
Сказал ему я, вздыхая. —
Лет десять, как судьба лихая
Вложила страсть в меня к стихам.
Я, лучшим следуя певцам,
Пишу, пишу, тружусь, потею
И рифмы, точно их кладу,
А всё в чтецах не богатею
И к славе тропки не найду!»

< 1792 >

ПУСТЫННИК И ФОРТУНА

Какой-то добрый человек,
Не чувствуя к чинам охоты,
Не зная страха, ни заботы,
Без скуки провождал свой век
С Плутархом, с лирой
И Пленирой,

Не знаю точно где, а только не у нас.
Однажды под вечер, как солнца луч погас
И мать качать дитя уже переставала,
Нечаянно к нему Фортуна в дом попала

И в двери ну стучать! —

«Кто там?» — Пустынник окликает. —

«Я! я!» — «Да кто, могу ли знать?» —

«Я! та, которая тебе повелевает

Скорее отпереть». — «Пустое!» — он сказал

И замолчал.

«Отóпрешь ли? — еще Фортуна закричала. —

Я ввек ни от кого отказа не слыхала;

Пусти Фортуну ты со свитою к себе,

С Богатством, Знатью и Чинами...

Теперь известна ль я тебе?» —

«По слуху... но куда мне с вами?»

Поди в другой ты дом,
А мне не поместить, ей-ей! такой содом». —
«Невежа! да пусти меня хоть с половиной,
Хоть с третью, слышишь ли?.. Ах! сжался
над судьбиной
Великолепия... оно уж чуть дышит,
Над гордой 'Знатностью, которая дрожит
И, стоя у порога, мерзнет;
Тронись хоть Славою, мой миленький дружок!
Еще минута, всё исчезнет!..
Упрямый, дай хотя Желанью уголок!» —
«Да отвяжися ты, лихая пустомеля! —
Пустынник ей сказал. — Ну, право, не могу.
Смотри: одна и есть постеля,
И ту я для себя с Пленирой берегу».

ЧИЖИК И ЗЯБЛИЦА

Чи́ж свил себе гнездо и, сидя в нем, поет:

«Ах! скоро ль солнышко взойдет

И с домиком меня застанет?

Ах! скоро ли оно проглянет?

Но вот уж и взошло! как тихо и красно!

Какая в воздухе, в дыханьи, в жизни сладость!

Ах! Я такого дня не видывал давно».

Но без товарища и радость нам не в радость:

Желаешь для себя, а ищешь разделить!

«Любезна Зяблица! — кричит мой Чи́ж соседке,

Смиренно прикорнувшей к ветке, —

Что ты задумалась? давай-ка день хвалить!

Смотри, как солнышко...» — Но солнце вдруг
сокрылось,

И небо тучами отвсюду обложилось;

Все птицы спрятались, кто в гнезды, кто

в реку,

Лишь галки стаями гуляют по песку

И криком бурю вызывают;

Да ласточки еще над озером летают;

Бык, шею вытянув, под плугом заревел;

А конь, поднявши хвост и разметавши гриву.

Ржет, пышет и летит чрез ниву.

И вдруг ужасный вихрь со свистом восшумел,

✱

Со треском грянул гром, ударил дождь
со градом,

И пали пастухи со стадом.
Потом прошла гроза, и солнце расцвело,

Всё стало ярче и светлее,
Цветы душистее, деревья зеленее —
Лишь домик у Чижика куда-то занесло.
О бедненький мой Чиж! Он, мокрыми крылами
Насилу шевеля, к соседушке летит

И ей со вздохом и слезами,
Носок повеся, говорит:
«Ах! всяк своей бедой ума себе прикупит:
Впредь утро похваляю, как вечер уж наступит».

ДУБ И ТРОСТЬ

Дуб с Тростию вступил однажды в разговоры:
«Жалею, — Дуб сказал, склоня к ней важны
взоры, —

Жалею, Тросточка, об участи твоей!
Я чаю, для тебя тяжел и воробей;
Легчайший ветерок, едва струящий воду,
Ужасен для тебя, как буря в непогоду,
И гнет тебя к земли,

Тогда как я — высок, осанист и вдали
Не только Фебовы лучи пересекаю,
Но даже бурный вихрь и громы презираю;
Стою и слышу вокруг спокойно треск и стон;
Всё для меня Зефир, тебе ж всё Аквилон.
Блаженна б ты была, когда б росла со мною:

Под тению моей густою
Ты б не страшилась бурь; но рок тебе судил
Расти, наместо злачна дола,
На топких берегах владычества Эола.
По чести, и в меня твой жребий грусть

вселил». —
«Ты очень жалостлив, — Трость Дубу
отвечала, —

Но, право, о себе еще я не вздыхала,
Да не о чем и вздыхать:

Мне ветры менее, чем для тебя, опасны.

Хотя порывы их ужасны

И не могли тебя досель поколебать,

Но подождем конца». С сим словом вдруг

завыла

От севера гроза и небо помрачила;

Ударил грозный ветер — всё рушит и валит,

Летит, кружится лист; Трость гнется — Дуб

стоит.

Ветр, пуще вооружась, из всей ударил мочи —

И тот, на коего с трудом взирали очи,

Кто ада и небес едва не досягал, —

Упал!

ДВА ДРУГА

Давно уже, давно два друга где-то жили,
Одну имели мысль, одно они любили
И каждый час
Друг с друга не спускали глаз;
Всё вместе; только ночь одна их разводила;
Но нет, и в ночь душа с душою говорила.
Однажды одному приснился страшный сон;
Он вмиг из дому вон,
Бежит встревоженный ко другу
И будит. Тот вскочил:
«Какую требуешь услугу? —
Смутясь, он говорил. —
Так рано никогда мой друг не пробуждался!
Что значит твой приход? Иль в карты
проигрался?
Вот вся моя казна! Иль кем ты огорчен?
Вот шпага! Я бегу — умру иль ты отмщен!» —
«Нет, нет, благодарю; ни это, ни другое, —
Друг нежный отвечал, — останься ты в покое:
Проклятый сон всему виной!
Мне снилось на заре, что друг печален мой,

И я... я столько тэм смутился,
 Что тóтчас пробудился
И прибежал к тебе, чтоб успокоить дух».

Какой бесценный дар — прямой, сердечный друг!
Он всякие к твоей услуге ищет средства:
Отгадывает грусть, предупреждает бедства;
Его безделка, сон, ничто приводит в страх,
Друг в сердце, друг в уме — и он же на устах!
< 1795 >

СТАРИК И ТРОЕ МОЛОДЫХ

Старик, лет в семьдесят, рыл яму и кряхтел:
Добро бы строить, нет! садить еще хотел!
А трое молодцов, зевая на работу,
Смеялись над ним. «Какую же охоту
На старости бог дал!» —

Один из них сказал.

Другой прибавил: «Что ж? еще не опоздал!
Ковчег и большего терпенья стоил Ною». —
«Смешон ты, дедушка, с надеждою пустою! —

Примолвил третий Старику, —

Довольно, кажется, ты пожил на веку;

Когда ж тебе дожждаться

Под тению твоей рябинки прохлаждаться?

Ровесникам твоим и настоящий час

Неверен;

А завтра льстить себя оставь уже ты нас».

Совет довольно здрав, довольно и умерен

Для мудреца в шестнадцать лет!

«Поверьте мне, друзья, — Старик сказал

в ответ, —

Что завтра ни мое, ни ваше;

Что парка бледная равно

Взирает на течение наше.

От провидения нам ведать не дано,

КОКЕТКА И ПЧЕЛА

Прелестная Лизета

Лишь только что успела встать
С постели роскоши, дойти до туалета
И дружеский совет начать
С поверенным всех чувств, желаний,
Отрад, веселья и страданий,
С уборным зеркалом, — вдруг страшная Пчела
Вокруг Лизеты зажужжала!

Лизета обмерла,
Вскочила, закричала:

«Ах, ах! мисс Женни, поскорей!
Параша! Дунюшка!» — Весь дом сбежался

к ней;

Но поздно! ни любовь, ни дружество, ни золото,
Ничто не отвратит неумолимый рок!

Чудовище крылато

Успело уже сесть на розовый роток,

И Лиза в обморок упала.

«Не дам торжествовать тебе над госпожой!» —
Вскричала Дунюшка и смелою рукой

В минуту Пчелку поймала;

А пленница в слезах, в отчаяньи жужжала:

«Клянуся Флорою! хотела ли я зла?

Я аленький роток за розу приняла».

Столь жалостная речь Лизету воскресила.
«Дуняша! — говорит Лизета, — жаль Пчелы;
Пусти ее; она почти не уязвила».

Как сильно действует и крошечка хвалы!

<1797>

ВОСПИТАНИЕ ЛЬВА

У Льва родился сын. В столице, в городах,
Во всех его странах
Потешные огни, веселья, жертвы, оды.
Мохнатые певцы все взапуски кричат:
«Скачи, земля! зыграйте, воды!
У Льва родился сын!» И вправду, кто не рад?
Меж тем, когда всяк зверь восторгом упивался,
Царь Лев, как умный зверь, заботам предавался,
Кому бы на руки дитя свое отдать:
Наставник должен быть умен, учен, незлобен!
Кто б из зверей к тому был более способен?
Не шутка скоро отгадать.
Царь, в нерешимости, велел совет собрать;
В благоволении своем его уверя.
Препоручил избрать ему,
По чистой совести, по долгу своему,
Для сына в менторы достойнейшего зверя.
Встал Тигр и говорит:
«Война, война царей великими творит;
Твой сын, о государь, быть должен страхом
света;
И так образовать его младые лета
Лишь тот способен из зверей,
Который всех, по Льве, ужасней и страшней». —

«И осторожнее, — Медведь к тому прибавил, —

Чтоб он младого Льва наставил

Уметь и храбростью своею управлять».

Противу мненья двух Лисе идти не можно;

Однако ж, так и сяк начав она вилать,

Заметила, что дядьке должно

Знать и политику, быть хитрою ума,

Короче: какова сама.

За нею тот и тот свой голос подавали,

И все они, хотя себя не называли,

Но ясно намекали,

Что в дядьки лучше их уж некого избрать:

Советы и везде почти на эту стать.

«Позволено ль и мне сказать четыре слова? —

Собака наконец свой голос подала. —

Политики, войны нет следствия другого,

Как много шума, много зла.

Но славен добрый царь коварством ли и кровью?

Как подданных своих составит счастье он?

Как будет их отцом? чем утвердит свой трон?

Любовью.

Вот таинство, вот ключ к высокой и святой

Науке доброго правленья!

Кто ж принцу лучшие подаст в ней наставленья?

Никто, как сам отец». — Тигр смотрит как

шальной,

Медведь, другие тож; а Лев от умиленья

Заплавав, бросился Собаку обнимать

«Почто, — сказал, — давно не мог тебя я знать?»

О добрый зверь! тебе вручаю

Я счастье мое и подданных моих;

Будь сыну моему наставником! Я знаю,

Сколь пагубны льстецы: укрой его от них,
Укрой и от меня — в твоей он полной воле».
Собака от царя идет с дитятей в поле,
Лелеет, пестует и учит между тем.
Урок был первый тот, что он Щенок, не Львенок,
И в дальнем с ним родстве. Проходит день
за днем,

Уже питомец не ребенок,
Уже наставник с ним обходит все страны,
Которые в удел отцу его даны;
И Львенок в первый раз узнал насильство
власти,

Народов нищету, зверей худые страсти:
Лиса ест кроликов, а Волк душит овец,
Оленя давит Барс; повсюду, наконец,

Могучие богаты,

Бессильные от них кряхтят,

Быки работают без платы,

А Обезьяну золотят.

Лев молодой дрожит от гнева.

«Наставник, — он сказал, — подобные дела
Доходят ли когда до сведенья царева?»

Ах, сколько бедствий, сколько зла! —

«Как могут доходить? — Собака отвечает. —
Его одна толпа счастливцев окружает,

А им не до того; а те, кого съедят,

Не говорят».

И так наш Львенок, без дальних размышлений
О том, в чем доброту и мудрость ставит свет,
И добр стал и умен; но в этом дива нет:
Пример и опытность полезней наставлений.
Он, в доброй школе той взрастая, получил

Рассудок, мудрость, крепость тела;
Однако ж всё еще не ведал, кто он был;
Но вот как случай сам о том ему открыл.

Однажды на пути Собака захотела
Взять отдых и легла под тению дерев.
Вдруг выскочил злой Тигр, разинул страшный зев
И прямо к ней, — но Лев,

Закрыв ее собою,
Взмахнул хвостом, затряс косматой головою,
Взревел — и Тигр уже растерзанный лежит!
Потом он в радости к наставнику бежит
И вопит: «Победил! благодарю судьбину!
Но я ль то был иль нет? .. Поверишь ли, отец,
Что в этот миг, когда твой близок был конец,
Я вдруг почувствовал и жар, и силу Львину;
Я точно... был как Лев!» — «Не ложно, Лев
и есть, —

Наставник отвечал, облившись слезами. —
Готовься важную услышать, сын мой, весть:
Отныне... кончилось равенство между нами;
Ты царь мой! поспешим возвратом ко двору.
Я всё употребил, что мог, тебе к добру;
Но ты... и радости, и грусти мне причина!
Прости, о государь, неволью слезы лью...

Отечеству отца даю,
А сам... теряю сына!»

ПЕТУХ, КОТ И МЫШОНОК

❶ дети. дети! как опасны ваши лета!
Мышонок, не видавший света,
Попал было в беду, и вот как он об ней
Рассказывал в семье своей:
«Оставляя нашу нору
И перебравшись чрез гору,
Границу наших стран, пустился я бежать,
Как молодой мышонок,
Который хочет показать,
Что он уж не ребенок.
Вдруг с розмаху на двух животных набежал:
Какие звери, сам не знал;
Один так смирен, добр, так плавно выступал,
Так миловиден был с собою!
Другой — пахал, крикун, теперь лишь будто
с бою;
Весь в перьях; у него косматый крюком хвост;
Над самым лбом дрожит нарост
Какой-то огненного цвета,
И будто две руки, служащи для полета;
Он ими так махал
И так ужасно горло драл,
Что я, таки не трус, а подавай бог ноги —
Скорее от него с дороги.

Как больно! Без него я верно бы в другом

Нашел наставника и друга!

В глазах его была написана услуга:

Как тихо шевелил пушистым он хвостом!

С каким усердием бросал ко мне он взоры,

Смиренны, кроткие, но полные огня!

Шерсть гладкая на нем, почти как у меня;

Головка пестрая, и вдоль спины узоры;

А уши как у нас, и я по ним сужу,

Что у него должна быть симпатія с нами,

Высокородными мышами». —

«А я тебе на то скажу, —

Мышонка мать остановила, —

Что этот доброхот.

Которого тебя наружность так прельстила,

Смиренник этот... Кот!

Под видом кротости, он враг наш, злой

губитель;

Другой же был Петух, миролюбивый житель.

Не только от него не видим мы вреда

Иль огорченья,

Но сам он пищей нам бывает иногда.

Вперед по виду ты не делай заключенья».

ЦАРЬ И ДВА ПАСТУХА

Какой-то государь, прогуливаясь в поле,
Раздумался о царской доле.
«Нет хуже нашего, — он мыслил, — ремесла!
Желал бы делать то, а делаешь другое!
Я всей душой хочу, чтоб у меня цвела
Торговля; чтоб народ мой ликовал в покое;
А принужден вести войну,
Чтоб защищать мою страну.
Я подданных люблю, свидетели в том боги,
А должен прибавлять еще на них налоги;
Хочу знать правду — все мне лгут.
Бояра лишь чины берут,
Народ мой стонет, я страдаю,
Советуюсь, тружусь, никак не успеваю;
Полсвета властелин — не веселюсь ничем!»
Чувствительный монарх подходит между тем
К пасущейся скотине;
И что же видит он? рассыпанных в долине
Баранов, тощих до костей,
Овечек без ягнят, ягнят без матерей!
Все в страхе бегают, кружатся,
А псам и нужды нет: они под тень ложатся;
Лишь бедный мечется Пастух:

То за бараном в лес во весь он мчится дух,
То бросится к овце, которая отстала,
То за любимым он ягненком побежит,
А между тем уж волк барана в лес тащит;
Он к ним, а здесь овца волчихи жертвой стала.
Отчаянный Пастух рвет волосы, ревет,
Бьет в грудь себя и смерть зовёт.

«Вот точный образ мой, — сказал
самовластитель, —

Итак, и смиренных животных охранитель
Таковыми ж, как и мы, напастьми окружен,
И он, как царь, порабощен!
Я чувствую теперь какую-то отраду».
Так думая, вперед он путь свой продолжал,
Куда? и сам не знал;

И наконец пришел к прекраснейшему стаду.
Какую разницу монарх увидел тут!
Баранам счету нет, от жира чуть идут;
Шерсть на овцах как шелк и тяжестью их

клонит;

Ягнятки, кто кого скорее перегонит,
Толпятся к маткиным питательным сосцам;
А Пастушок в свирель под липою играет
И милую свою пастушку воспеваёт.

«Несдобровать, овечки, вам! —

Царь мыслит. — Волк любви не чувствует
закона,

И Пастуху свирель худая оборона».
А волк и подлинно откуда ни возьмись,
Во всю несется рысь;

Но псы, которые то стадо сторожили,
Вскочили, бросились и волка задавили;

КАРЕТНЫЕ ЛОШАДИ

Две лошади везли карету;
Осел, увидя их, сказал:
«С какою завистью смотрю на пару эту!
Нет дня, чтоб где-нибудь ее я не встречал;
Всё вместе: видно, очень дружны!» —
«Дурак, дурак! при всей длине своих ушей! —
Сказала вслед ему одна из лошадей, —
Ты только лишь глядишь на признаки
наружны;
Диковинка ль всегда в упряжке быть одной,
А розно жить душой?
Увы! не нам чета живут на нас похоже!»
Вчера мне Хлоин муж шепнул в собраньи
то же.

1802

ЗМЕЯ И ПИЯВИЦА

«Как я несчастна!

И как завидна часть твоя! —

Однажды говорит Пиявице Змея. —

Ты у людей в чести, а я для них ужасна;

Тебе охотно кровь свою дают;

Меня же все бегут и, если могут, бьют;

А, кажется, равно мы с ними поступаем:

И ты, и я людей кусаем». —

«Конечно! — был на то Пиявицын ответ. —

Да в цели нашей сходства нет;

Я, например, людей к их пользе уязвляю,

А ты для их вреда;

Я множество больных чрез это исцеляю,

А ты и не больным смертельна завсегда.

Спроси самих людей: все скажут, что я права;

Я им лекарство, ты — отрава».

Смысл этой басенки встречается тотчас:

Не то ли Критика с Сатиroy у нас?

<1803>

ДРЯХЛАЯ СТАРОСТЬ

«Возможно ли, как в тридцать лет
Переменилось всё!.. ей-ей, другой стал свет! —
Подагрик размышлял, на креслах нянча ногу. —
Бывало в наши дни и помолиться богу,
И погулять — всему был час;
А ныне... что у нас?
Повсюду скука да заботы,
Не пляшут, не поют — нет ни к чему охоты!
Такая ль в старину бывала и весна?
Где ныне красны дни? где слышно птичек пенье?
Охти мне! знать, пришли последни времена;
Предвижу я твое, природа, разрушенье!..»
При этом слове вдруг, с восторгом на лице,
Племянница к нему вбежала.
«Простите, дядюшка! нас матушка послала
С мадамой в Летний сад. Все, все уж
на крыльце,
Какой же красный день!» — И вмиг ее не стало.
«Какая ветреность! Вот модные умы! —
Мудрец наш заворчал. — Такими ли, бывало,
Воспитывали нас? Мой бог! всё хуже стало!»

Читатели! подагрик — мы.

<1803>

ПРИДВОРНЫЙ И ПРОТЕЙ

Издáвна говорят, что будто царедворцы
Для пользы отечества худые ратоборцы;
А я в защиту их скажу, что в старину
Придворный именно спас целую страну.

А вот как это и случилось.

Был мор; из края в край всё царство
заразилось;

И раб, и господин, и поп, лейб-медик сам —

Всё мрет; а срок бедам

Зависел от ума Протея.

Но кто к нему пойдет? Кривляка этот бог

И прытких дельгвал без ног,

Различны виды брать умея.

Из тысячи граждан один был только смел,

Который при дворе возрос и поседел,

Идти на всякий страх, во что бы то ни стало.

Увидя рыцаря, Протей затрепетал,

И вмиг — как не бывал.

А выползла змея красивая, скрыв жало.

«Куда как мудрено! —

Сказал с усмешкою Придворный, —

Я ползать и колоть уж выучен давно».

И кинулся герой проворный

Ловить Протея. Тот вдруг обезьяной стал,

Там волком, там лисою.

«Не хвастайся передо мною!
И этому горазд!» — Придворный говорил,
А между тем его веревкою крутил;
Скрутя же, говорить легко его заставил
И целую страну от мора тем избавил.

<1803>

ЛИСА-ПРОПОВЕДНИЦА

Разбитая параличом
И одержимая на старости подагрой
И хирагрой,
Всем телом дряхлая, но бодрая умом
И в логике своей из первых мастерица,
Лисица
Уединилась от света и от зла
И проповедовать в пустыню перешла.
Там кроткие свои беседы растворяла
Хвалой воздержности, смиренности, правоте;
То плакала, то воздыхала
О братии, в мирской утопшей суете;
А братий и всего на проповедь сбиралось
Пять-шесть наперечет;
А иногда случалось
И менее того, и то Сурок да Крот,
Да две-три набожные Лани,
Зверишки бедные, без связей, без подпор;
Какой же ожидать от них Лисице дани?
Но лисий дальновиден взор:
Она переменяла струны;
Взяла суровый вид и бросила перуны

На кровожадных медведей и волков,
На тигров, даже и на львов!
Что ж? слушателей тьма стеклася,
И слава о ее витийстве донеслася
До самого царя зверей,
Который, несмотря, что он породы львиной,
Без шума управлял подвластною скотиной
И в благочестие вдался под старость дней.
«Послушаем Лису! — Лев молвил, — что
за диво?»

За словом вслед указ;
И в сутки, ежели не лживо
Историк уверяет нас,
Лиса привезена и проповедь сказала.
Какую ж проповедь! Из кожи лезла вон!
В тиранов гром она бросала,
А в страждущих от них дух бодрости вливала
И упование на время и закон.
Придворные оцепенели:
Как можно при дворе так дерзко говорить!
Друг на друга глядят, но говорить не смели,
Смекнув, что царь Лису изволил похвалить.
Как новость, иногда и правда нам по нраву!
Короче вам: Лиса вошла и в честь и славу;
Царь Лев, дав лапу ей, приветливо сказал:
«Тобой я истину познал
И боле прежнего гнушаться стал пороков;
Чего ж ты требуешь во мзду твоих уроков?
Скажи без всякого зазренья и стыда;
Я твой должник». — Лиса, глядь, глядь туда,
сюда,

Как будто совести почувствуя улику,
 «Всещедрый царь-отец! —
Ответствовала Льву с запинкой наконец, —
 Индеек... *малую толику*».

<1805>

ЧАСОВАЯ СТРЕЛКА

«Кто равен мне? Солдат, любовник, сочинитель,
И сторож, и министр, и алтарей служитель,
И доктор, и больной, и самый государь —
Все чувствуют, что я важней, чем календарь!
Я каждому из них минуты означаю;
Деля и день, и ночь, я время измеряю!»
Так, видя на нее зевающий народ,
Хвалилась Стрелка часовая,
Меж тем как бедная пружина, продолжая
Невидимый свой путь, давала Стрелке ход!

Пружина — секретарь; а Стрелка, между
нами...
Но вы умны: смекайте сами.

<1805>

КОТ, ЛАСТОЧКА И КРОЛИК

Случилось Кролику от дома отлучиться,
Иль лучше: он пошел Авроре поклониться
На тмине, вспрыснутом росой.
Здоров, спокоен и на воле,
Попрыгав, пощипав муравки свежей в поле,
Приходит Кроличек домой,
И что же? — чуть его не подкосились ноги! —
Он видит: Ласточка расставляет там
Своих пенатов по углам!
«Во сне ли я иль нет? Странноприимны боги!» —
Изгнанник возопил
Из отческого дома.
«Что надобно?» — вопрос хозяйки новой был. —
«Чтоб ты, сударыня, без грома
Скорей отсюда вон! — ей Кролик отвечал, —
Пока я всех мышей на помощь не призвал». —
«Мне выдти вон? — она вскричала, — вот
прекрасно!
Да что за право самовластно?
Кто дал тебе его? И стоит ли войны
Нора, в которую и сам ползком тыходишь?
Но пусть и царство будь: не все ль мы здесь
равны?»

И где, скажи мне, ты находишь,
Что бог, создавши свет, его размежевал?
Бог создал Ласточку, тебя и Дромадера;

А землемера

Отнюдь не создавал.

Кто ж боле права дал на эту десятину
Петрушке Кролику, племяннику, иль сыну
Филата, Фефела, чем Карпу или мне?
Пустое, брат! земля всем служит наравне;
Ты первый захватил — тебе принадлежала;
Ты вышел — я пришла, моею норка стала».

Петр Кролик приводил в довод

Обычай, давность. «Их законом, —

Он утверждал, — введен в владение наш род

Бесспорно этим домом,

Который кроликом Софроном

Отказан, справлен был за сына своего

Ивана Кролика; по смерти же его

Достался, в силу права,

Тож сыну, именно мне, Кролику Петру;

Но если думаешь, что вру,

То отдадим себя на суд мы *Крысодава*».

А этот *Крысодав*, сказать без многих слов,

Был постный, жирный Кот, муж свят из всех

котов,

Пустынник набожный средь света

И в казусных делах оракул для совета.

«С охотой!» — Ласточка сказала. И потом

Пошли они к Коту. Приходят, бьют челом

И оба говорят: «Помилуй!» —

«Рассудите! . . .» —

ЛЕВ И КОМАР

«Прочь ты, подлейший гад, навоза
порожденье!» —

Лев гордый Комару сказал.
«Потише! — отвечал Комар ему, — я мал,
Но сам не меньше горд, и не снесу презренье!

Ты царь зверей,
Согласен;

Но мне нимало не ужасен:
Я и Быком верчу, а он тебя сильней».
Сказал и, став трубач, жужжит повестку к бою;
Потом с размахкою, приличною герою,
Встряхнулся, полетел и в шею Льву впился:

У Льва глаз кровью налился;
Из пасти пена бьет; зубами он скрежещет,
Ревет, и всё вокруг уходит и трепещет!

От Комара всеобщий страх!

Он в тысячи местах,
И в шею, и в бока, и в брюхо Льва кусает,
И даже в глубь ноздри влетает!

Тогда несчастный Лев, в страданьи выше сил,
Как бешеный, вокруг чресл хвостом своим забил
И начал грызть себя; потом. . . лишившись мочи,
Упал, и грозные навек смыкает очи.

Крылатый богатырь тут пуще зажужжал
И всюду разглашать о подвигах помчался;
 Но скоро сам попал
В засаду к Пауку и с жизнью расстался.

Увы! в юдоли слез неверен каждый шаг;
От злобы, от беды когда и где в покое?
 Опасен *крупный* враг,
 А *мелкий* часто вдвое.

< 1805 >

МУХА

Бык с плугом на покой тащился по трудах;
А Муха у него сидела на рогах,
И Муху же они дорогой повстречали.
«Откуда ты, сестра?» — от этой был вопрос.
А та, поднявши нос,
В ответ ей говорит: «Откуда? — мы пахали!»

От басни навсегда
Нечаянно дойдешь до были.
Случалось ли подчас вам слышать, господа:
«Мы сбили! Мы решили!»

<1805>

СУП ИЗ КОСТЕЙ

«**О** времена! о времена! —

Собака, выходя из кухни, горько выла, —
Прощайся и с костями! будь вечно голодна
И околей за то, что с верностью служила!

Вот дождались каких мы дней!

Безвременная смерть! уж нет нам и костей!» —
«Да где ж они?» — вопрос ей сделала другая,

Собака пожилая,

Прикованна подле ворот.

«В котле, да не для нас, а для самих господ:
Какой-то выдумщик, злодей собачью роду —
И верно уж француз, пустил и кости в моду!

Он выдумал из них дешевый суп варить

И хочет им людей кормить;

А нам уже ни кости!

Я тресну с голода и злости!» —

«А мой совет, — сказал на привязи мудрец, —
В молчании терпеть, пока судьба сурова!
Ведь этот случай нам не первый образец:

Большой всегда на счет меньшого».

<1805>

ДОН-КИШОТ

Надсевшись Дон-Кишот с баранами сражаться,
Решился лучше их пасти
И жизнь невинную в Аркадии вести.
Проворным долго ль снаряжаться?
Обломок дротика пошел за посошок,
Котомкой с табаком мешок,
Фуфайка спальная пастушечьим камзолом,
А шляпу, в знак его союза с нежным полом,
У ключницы своей соломенную взял
И лентой розового цвета
Под бледны щеки подвязал
Узлами в образе букета.
Спустил на волю кобеля,
Который к хлебному прикован был амбару;
Послал в мясном ряду купить баранов пару,
И стадо он свое рассыпал на поля
По первому морозу;
И начал воспевать зимой весенню розу.
Но в этом худа нет: веселому всё в лад,
И пусть играет всяк любимую гремушкой;
А вот что невпопад
Идет коровница — почтя ее пастушкой,
Согнул наш пастушок колена перед ней

И, размахнув руками,
Отборными словами
Пустился петь эклогу ей.
«Аглая! — говорит. — прелестная Аглая!
Предмет и тайных мук, и радостей моих!
Всегда ли будешь ты, мой пламень презирая,
Лелеять и любить овечек лишь своих?
Послушай, милая! там, позади кусточков,
На дереве гнездо нашел я голубочков:
Прими в подарок их от сердца моего;
Я рад бы подарить любезную полсветом —
Увы! мне, кроме их, бог не дал ничего!
Они белы, как снег, равны с тобою цветом.
Но сердце не твое у них!»
Меж тем как толстая коровница Аглая,
Кудрявых слов таких
Седого пастушка совсем не понимая,
Стоит, разинув рот и выпуча глаза
Ревнивый муж ее, подслушав селадона,
Такого дал ему туза,
Что он невольно лбом отвесил три поклона;
Однако ж головы и тут не потерял.
«Пастух-невежда! — он вскричал, —
Не смей ты нарушать закона!
Начнем пастуший бой;
Пусть победителя Аглая увенчает:
Не бей меня, но пой!»
Муж грубый кулаком вторичным отвечает,
И, к счастью, в глаз, а не в висок.
Тут нежный, верный пастушок,
Смекнув, что это въявь увечье, не проказа.

Чрез поле рысаком во весь пустился дух,
И с этой стал поры не витязь, не пастух,
Но просто — дворянин без глаза.

Ах! часто и в себе я это замечал,
Что, глупости бежа, в другую попадал.

<1805>

ИСТОРИЯ

Столица роскоши, искусства и наук
Пред мужеством и силой пала;
Но хитрым мастерством художнических рук
Еще она блистала
И победителя взор дикий поражала.
Он с изумлением глядит на истукан
С такою надписью: «Блюстителю граждан,
Отцу отечества, утехе смертных рода,
От благодарного народа».
Царь-варвар тронут был
Столь новой для него и благородной данью;
Влеком к невольному вниманью,
В молчаньи долго глаз он с лика не сводил.
«Хочу, — сказал потом, — узнать его деянья», —
И вмиг толмач его, разгнев бытописанья,
Читает вслух: «Сей царь — бич подданных
своих,
Родился к гибели и посрамленью их:
Под скипетром его железным
Закон безмолвствовал, дух доблести упал,
Достойный гражданин считался бесполезным,
А раб коварством путь к господству пролагал».
В таком-то образе Историей правдивой

А П О Л О Г И

ПОЛЕВОЙ ЦВЕТОК

Простой цветочек, дикой,
Нечаянно попал в один пучок с гвоздикой;
И что же? от нее душистым стал и сам. —
Хорошее всегда знакомствс в прибыль нам.

<1805>

РЕПЕЙНИК И ФИАЛКА

Между Репейником и розовым кустом
Фиалочка себя от зависти скрывала;
Безвестною была, но горестей не знала. —
Тот счастлив, кто своим доволен уголком.

<1826>

МЯЧИК

«Несносный жребий мой! то вверх, то вниз
лечу;

Вперед, назад меня толкают.
Ракете смех, а я страдаю и молчу». —
Проситель! и с тобой не лучше поступают.

<1826>

КАМЕННАЯ ГОРА И ВОДЯНАЯ КАПЛЯ

«С умом ли, Капля, ты? меня пробить взялась!
Меня, гранитную! ты. право стоишь смеха».
Но Капля молча всё кап, кап... и пробралась. —
Настойчивость — залог успеха.

<1826>

БЕСПЕЧНОСТЬ ПОЭТА

Поэт случайно в честь и круг бояр попал;
Но буря зависти против его восстала,
И всюду разнеслось: певцу грозит опала. —
«Так я был в случае? вот новость!» —
он сказал.

<1826>

ЧЕЛНОК БЕЗ ВЕСЛА

По ветру, без весла, Челнок помчался в море;
Ударился в скалу и раздробил свой бок. —
На жизненной реке и нам такое ж горе:
Без мудрости — прощай, наш утлый челночок!

<1826>

ЭПИЛОГ

АВТОР И КРИТИКА

«Что вздумалось тебе сухие аполбги
Представить критикам на суд?
Ты знаешь, как они насмешливы и
строги». —
«Тем лучше: их прочтут».

*Надписи. Эпитафии.
Эпиграммы*

Надписи

И это человек?
О времена! о век!
1791

К ПОРТРЕТУ Г. Р. ДЕРЖАВИНА

Державин в сих чертах блистает;
Потребно ли здесь больше слов
Для тех, которых восхищает
Честь, правда и язык богов?

1793

**СТАРИННАЯ ШУТКА
К ПОРТРЕТУ Н. М. КАРАМЗИНА**

Он дома — иль Шолье, иль Юм, или Платон;
Со мною — милый друг; у Вейлер — селадон:
Бывает и игрок — когда у Киселева,
А у любовницы — иль ангел, или рева.

1790-е годы

Вот милый всем творец! иль сердцем, иль умом
Грозит тебе он пленом:
В Аркадии б он был счастливым пастушком,
В Афинах — Демосфеном.

<1803>

Смейтесь, смейтесь, что я шую
Маленьки мои глаза.
Я уж видел, братцы, бурю,
И знакома мне гроза;
Побывал и я средь боя!
Видел смерть невдалеке, —
Так не стыдно для покоя
Погулять и в колпаке.

<1803>

Чей это, боже мой, портрет?
Какими яркими чертами
Над впалыми ее глазами
Натиснуты все сорок лет!

<1803>

Эпитафии

ЭПИТАФИЯ ЭПИТАФИЯМ

Прохожий! пусть тебе напомнит этот
стих,
Что всё на час под небесами:
Поутру плакали с смерти мы других,
А к вечеру скончались сами.

1803

Прохожий, стой! во фронт! скинь шляпу
и читай:
«Я воин, грамоты не знал за недосугом.
Направо крúгом!
Ступай!»

<1805>

Эпиграммы

«Я разорился от воров!» —
«Жалею о твоём я горе». —
«Украли пук моих стихов!» —
«Жалею я об воре».

<1803>

Седящий на мешках славяно-русских слов,
От коего мы спим, а цензоры зевают,
Кто страшен грациям, кого в листочках
Львов,

А Павлом Юрьичем домашни называют,
Рек сам себе: «Я врать досель не уставал,
Так подурчимся ж еще мы для забавы».
Он рек — и вмиг свахлял из щепочек

Храм славы!

Сотиньус, рот разинув, пал,
А Львов вприсядку заплясал.

1803

ОТВЕТ

Нахальство, Аристарх, таланту не замена;
Я буду всё поэт, тебе наперекор!
А ты — останешься всё тот же крохобор,
Плюгавый выползок из <гузна> Дефонтена.

1806

**НА ДУРНЫЕ ОДЫ ПО СЛУЧАЮ РОЖДЕНИЯ
ИМЕНИТОЙ ОСОБЫ**

●, тяжелой жизни договор!
О, дочь полубогов! нет и тебе свободы!
Едва родилась ты, что твой встречает взор?
Свивальники, сироп и оды!!

<1810>

ПРИМЕЧАНИЯ

В основу данного сборника положено издание «Н. Карамзин. И. Дмитриев». Большая серия «Библиотеки поэта», Л., 1953.

Большинство текстов печатается по последним прижизненным изданиям: «Сочинения Карамзина. Издание третье. Москва, 1820» и «Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева. Издание шестое, СПб., 1823». Стихотворения, не входившие в эти собрания, публикуются по текстам последних прижизненных изданий и посмертных публикаций.

Стихотворения Н. М. Карамзина расположены в хронологическом порядке, стихотворения И. И. Дмитриева — по жанрам, как их обычно располагал автор, а внутри разделов — хронологически.

Даты написания приводятся в тексте, под стихотворением: точные — без скобок; даты первой публикации или год, не позднее которого написано стихотворение, — в угловых скобках; приблизительные даты отмечаются вопросительным знаком.

Имена и названия, скрытые у автора под инициалами, раскрыты в тексте (даются без угловых скобок).

Орфография и пунктуация текстов приближены к современным.

Н. М. КАРАМЗИН

«Часто здесь в юдоли мрачной...» Послание И. И. Дмитриеву, в котором сказались масонские настроения Карамзина. Приложено к его письму Дмитриеву с датой «Москва 1787». *Юдоль* (устар.) — жизнь с ее печальями. *Филомела* (греч. миф.) — дочь афинского царя Пандиона, превратившаяся в соловья, синоним соловья.

Поэзия. Литературный манифест молодого Карамзина. Эпиграф — из Ф. Клопштока (1724—1803), немецкого поэта, автора поэмы «Месснада». *Эдемский сад* — рай. *С невиннейшим семейством* (Когда погибло всё) *Поэзия спаслась*. Имеется в виду библейский рассказ о спасении Ноя во время всемирного потопа. *Мудрый бард, древнейший из певцов*. Бард — странствующий певец у древних кельтов; так стали называть поэтов после выхода в свет «Песен Оссиана»; здесь, вероятно, библейский патриарх Моисей. *Так царственный поэт, Родившись пастухом* — библейский царь Давид. *Орфей* — см. стр. 414. *Омир* — Гомер, легендарный поэт древней Греции, живший предположительно

между XII и VIII вв. до н. э.; ему приписываются великие эпические поэмы древнего мира «Илиада» и «Одиссея». *Ахиллес* — герой Троянской войны, подвиги которого описаны в «Илиаде» Гомера. *Александр* — Александр Македонский (IV в. до н. э.). *Бион* — греческий лирик (III в. до н. э.). *Софокл* и *Эврипид* (V в. до н. э.) — древнегреческие трагики. *Теокрит* (IV в. до н. э.) — греческий поэт, автор «Идиллий». *Мосхос* (III в. до н. э.) — Мосх Сиракузский, греческий поэт-идиллик. *Так Августов поэт, так пастырь Мантуанский* — *Виргилий* (I в. до н. э.), римский поэт эпохи императора Августа, уроженец Мантуи. *Овидий воспевал начало всех вещей*. *Овидий Публий Назон* (I в. до н. э.) — римский поэт; Карамзин имеет в виду его поэму «Метаморфозы». *Гиганты* (греч. миф.) — сыновья Геи (богини земли), родственные богам исполинские существа, восставшие против богов и побежденные ими. *Фингалов мрачный сын* — *Оссиан*, мифический бард III в., под именем которого шотландский поэт Макферсон в 1761 г. издал сочиненные им по народным мотивам «Песни Оссиана» и выдал их за народные. *Так песни Оссиана, нежнейшую тоску вливая в томный дух*. Во второй части «Московского журнала» за 1791 г., публикуя отрывок из Оссиана, Карамзин писал в предисловии: «В чем состоит достоинство Оссиановых песней? — В неподражаемой прекрасной простоте... Глубокая меланхолия, иногда нежная, но всегда трогательная. разлившаяся во всех его творениях, приводит чи-

тателя в некоторое уныние; но душа наша любит предаваться унынию сего рода...» *Шекспир, Натуры друг!* Карамзин в драматургии Шекспира видел силу, способную увести русский театр от классической трагедии к бытовой, сентиментальной драме. Карамзин и сам попытался пойти по этому пути в своей единственной драме «София» («Московский журнал», 1791), следуя в частых переменах места действия за Шекспиром и подражая слезной драме «Ненависть к людям и раскаяние» Коцебу. Увлечению Карамзина Шекспиром содействовало знакомство с Якобом Райнгольдом Ленцем (1751—1792), немецким поэтом и драматургом, принадлежавшим к литературному направлению «Бури и натиска». Ленц эмигрировал в Россию и сблизился с кругом Н. И. Новикова. Мильтон Джон (1608—1674) — английский поэт, автор эпической поэмы «Потерянный и возвращенный рай». Йонг — Юнг (1684—1765), английский поэт, автор поэмы «Ночи», сыгравшей большую роль в распространении кладбищенских мотивов в сентиментальной поэзии. Томсон (1700—1748) — английский поэт, автор поэмы «Времена года». В «Письмах русского путешественника» Карамзин о ней писал: «Весна не была бы для меня так прекрасна, если бы Томсон и Клейст не описали мне всех красот ее». Альпийский Теокрит — Соломон Геснер (1730—1780), швейцарский писатель, автор «Идиллий» и «Смерти Авеля», писал на немецком языке. В «Письмах русского путешественника» о нем сказано:

«Рука времени, все разрушающая, разрушит некогда и город, в котором жил песнопевец... Но цветы Геснеровских творений не увянут». В «Московском журнале» Карамзин поместил биографии Геснера и Клопштока. *Астрея* (греч. миф.) — дочь Зевса, богиня справедливости. В *** блестит, и скоро все народы — вероятно, следует читать: «В Москве блестит...». *Прометей* (греч. миф.) — похититель небесного огня, который он подарил людям и был за это осужден богами. *Феб* — Аполлон (греч. миф.) — бог солнца и искусства.

К Дмитриеву. Стихотворение — письмо Карамзина к Дмитриеву от 17 ноября 1788 г. Его сопровождала следующая приписка: «Так бедный московский стихотворец, учащийся ныне разбирать по складам греческих поэтов, осмеливается греческим стихосложением воспевать хвалу своему другу!..» *Бард, Омир, Геснер* — см. стр. 406, 408. *Клейст* Христиан-Эвальд (1715 — 1759) — немецкий поэт, автор сентиментальной описательной поэмы «Весна», созданной под влиянием поэмы Томсона «Времена года». *Анакреон* (VI—V в. до н. э.) — древнегреческий поэт, певец вина и любви. *Зефир* (греч. миф.) — бог западного ветра.

Весенняя песнь меланхолика. Восемь строк стихотворения, начиная с «везде, везде мы видим радость», приведены в письме к Дмитриеву от 2 марта 1788 г. Дмитриев ответил стихами «Мой друг, судьба определила...»

Анакреонтические стихи А. А. Петрову. *Петров* Александр Андреевич (нач. 1760-х гг. — 1793), студент Московского университета, участник «Дружеского ученого общества» Н. И. Новикова, масон, друг юности Карамзина. Петров редактировал журнал «Детское чтение для сердца и разума» (1785—1789) при «Московских ведомостях», в котором сотрудничал Карамзин. Петров и Карамзин хотя и были масонами и переводили масонские книги, больше тяготели к широкой литературной деятельности. *Зефир* — см. стр. 409. *Флора* (рим. миф.) — богиня цветов. *Нью́тон* — Ньютон Исаак (1643—1727), английский физик, астроном, математик.

«Я в бедности на свет родился...». Из «Писем русского путешественника». В письме из Берна от 28 августа 1789 г. Карамзин писал: «В трактире Венца, где я живу... сегодня за ужином бедный итальянский музыкант играл на арфе и пел. Англичане набросали ему целую тарелку серебряных денег и хотели, чтобы он рассказал нам свою историю. «Слушайте», — сказал он, и запел: «Я в бедности на свет родился...». Н. В. Станкевич в 1834 г. перевел эту песню на немецкий язык. *Фортуна* (рим. миф.) — богиня счастья; синоним судьбы, успеха, богатства. *Фоб* — см. стр. 409.

Выздоровление. Написано во время путешествия Карамзина за границы, в Женеве 13 декабря 1789 г. Перекликается с письмом от

26 ноября 1789 г. «Писем русского путешественника».

Граф Гваринос. Перевод с немецкого языка староиспанского романа XVI в. о графе Гвариносе, бежавшем из мавританского плена. Романс о Гвариносе упоминается и приводится в «Дон-Кихоте», которым увлекался Карамзин. Карл Великий (742—814) — французский король, император Западно-Римской империи. В стихотворении говорится о борьбе Карла Великого с арабами в Испании, во время которой в знаменитой Ронсевальской битве погибла лучшая часть его войска. Инфант — сын короля (в Испании).

«Жил-был в свете добрый царь...». Из «Писем русского путешественника» (в письме из Парижа от 29 апреля 1790 г.) — перевод песни Лефорта из мелодрамы «Петр Великий» Жана Ноэля Бульи (1763—1842) — французского литератора и драматурга времен революции.

«К великолепию цари осуждены...». Из «Писем русского путешественника» (в письме из Парижа от июня <1790 г.>). Написано под впечатлением от садов Версаля, загородной резиденции французских королей, о которых в том же письме Карамзин писал: «Пойдем в сады, творение Ленотра, которого смелый гений везде сажал на трон гордое Искусство, а смиренную Натуру, как бедную невольницу, повергал к ногам его... Итак, не ищите природы в садах версальских».

К л а д б и щ е. Подражание стихотворению немецкого поэта Людвиг Козегартена (1758—1818) «Des Grabes Furchtbarkeit und Lieblichkeit».

К М и л о с т и. Стихи появились в «Московском журнале» Карамзина в 1792 г., вскоре после ареста Н. И. Новикова. В них Карамзин попытался заступиться за Новикова перед Екатериной II. А. А. Петров писал Карамзину 19 июля 1792 г.: «Пожалуйста, пришли стихи «К Милости» как они сперва были написаны. Я не покажу их никому, если то нужно». Первоначальный текст стихотворения не сохранился. *Тифон* (греч. миф.) — великан, олицетворение вулканических сил земли; отец чудовищ, враждебных человеку.

П р и н о ш е н и е г р а ц и я м. *Грации* (рим. миф.) — три богини: радости, юности и красоты, спутницы Венеры-Афродиты: Аглая, Талия и Евфрозина. *Нимфы* (греч. миф.) — богини рек, ручьев, гор, лесов. *Сократ Искусною рукой...* представил. Греческий философ Сократ (469—399 до н. э.) был сыном скульптора Софониска и обучался в молодости у отца искусству ваяния. В эллинистическую эпоху существовала скульптурная группа трех граций, приписывавшаяся Сократу. *Я друга потерял.* Имеется в виду А. А. Петров, умерший весной 1793 г.

К с о л о в ь ю. В стихотворении Карамзин вспоминает своего умершего друга А. А. Петрова.

Странность любви, или Бессонница. *Аполлон* (греч. миф.) — бог света, покровитель искусств. *Венера* (рим. миф.) — богиня любви и красоты. *Купидон* (рим. миф.) — бог любви, Амур.

«Законы осуждают...». Эту песню поет несчастный влюбленный в повести Карамзина «Остров Борнгольм» (1793).

Песнь Сафина. Карамзин включил это стихотворение с несколькими другими в свою лирическую прозу «Афинская жизнь». История о том, как греческая поэтесса Сафо (VII—VI в. до н. э.) бросилась с Левкадской скалы из-за неразделенной любви к Фаону, — легенда, следы которой сохранились в греческой поэзии. «Афинская жизнь» связана с увлечением Карамзина античностью и античной поэзией, выразившимся также и в опытах использования греческих размеров для русского стихосложения. Написано в период смятения Карамзина под впечатлением от Французской революции. В заключении «Афинской жизни» Карамзин писал: «Где Афины? ...Где моя греческая мантия? — Мечта! мечта! Я сижу один в сельском кабинете своем, в худом шлафроке, и не вижу перед собой ничего, кроме догорающей свечи, измаранного листа бумаги и гамбургских газет, которые завтра поутру (а не прежде, ибо я хочу спать нынешнюю ночь покойным сном) известят меня об ужасном безумстве наших просвещенных современников».

Смерть Орфеева. Из лирической прозы «Афинская жизнь». *Орфей* (греч. миф.) — певец-поэт, который своим пением очаровывал даже камни. Тоскуя по своей умершей жене Эвридике, Орфей спустился в Тартар — подземное царство, где пребывают души умерших, и умиловитивил пением адские силы. Они вернули ему Эвридику с условием, чтобы он ни разу не оглянулся назад дорогой из Тартара. Не слыша Эвридики за собой, Орфей обернулся — и Эвридика навсегда осталась в царстве мертвых. Выйдя из Тартара, тоскующий по Эвридике Орфей встретился с вакханками и был умерщвлен ими.

Послание к Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он жалуется на скоротечность счастливой молодости. Поводом для послания послужило стихотворение Дмитриева «Стансы к Карамзину» (1793) и особенно заключительные строки:

Было время, что играли
Здесь под тенью мы густой, —
Вы цветете... мы увяли!
Дайте старости покой.

Олимпийская чаша — чаша с нектаром, напитком, сохранявшим богам юность и красоту. *Юнона* (рим. миф.) — жена Юпитера, богиня неба и брака. *Платон* (427—347 до н. э.) — греческий философ-идеалист, автор одной из древнейших утопий. Взгляды на идеальное государственное

устройство в условиях рабовладельческого общества изложены Платоном в трех его диалогах «Государство», «Политик», «Законы». *Питтак* (VII—VI в. до н. э.) — законодатель, один из семи греческих мудрецов. *Фалес* (VII—VI в. до н. э.) — греческий философ. *Зенон* (IV в. до н. э.) — греческий философ, основатель философской школы стоицизма. *Данаиды* (греч. миф.) — 50 дочерей царя Даная, умертвившие своих мужей в первую брачную ночь и осужденные за это в царстве тенеи вечно наливать воду в бездонную бочку. *Сатурн... тигра с агнцем помирит* (рим. миф.). Сатурн (или в греческой мифологии Кронос) царствовал на земле во время «золотого века Астреи», т. е. века счастья, мира и справедливости.

Послание к Александру Алексеевичу Плещееву. Как и «Послание к Дмитриеву», отражает настроения Карамзина, рожденные Французской революцией и особенно событиями 1793 г. 17 августа того же года Карамзин писал Дмитриеву: «Поверишь ли, что ужасные происшествия Европы волнуют всю душу мою? Бегу в густую мрачность лесов — но мысль о разрушаемых городах и гибели людей везде теснит мое сердце». *Плещеев Александр Алексеевич* (ок. 1775—1827) — сын близких друзей Карамзина, Алексея Александровича и Анастасии Ивановны Плещеевых, член «Арзамаса», писал стихи, комедии, либретто опер и музыку, был близок к В. А. Жуковскому. *Фалес, Хилон, Питтак, Эпименид, Критон, Бионы, Симмии, Сильпоны, Эс-*

хины, Эммии, Зеноны — философы, ораторы и поэты древней Греции, среди них назван Эммий — видимо, голландский историк Уббо Эммий (1547—1626). Япетов сын — сын титана Япета — Прометей (см. стр. 409). Анахорет — отшельник.

Илья Муромец. Замысел богатырской сказки, вероятно, подсказан Карамзину сборниками сказок М. Д. Чулкова «Пересмешник» (1766—1768) и «Русские сказки» (1780—1783). Произведение осталось незаконченным. Каллиопа (греч. миф.) — муза красноречия и героического стихотворства. Троя — Илион, древний фригийский город, разрушенный греками в XII в. до н. э.; легендарную историю его гибели рассказал в «Илиаде» Гомер. *Петь вражды Агамемноновой с храбрым правнуком Юпитера.* По «Илиаде» во время осады Трои Агамемнон враждовал с Ахиллесом — сильнейшим из греческих героев, согласно легенде — правнуком Юпитера. *Плыть от Трои разоренныя с хитрым сыном Афродитиным.* Римский поэт Вергилий (I в. до н. э.) в поэме «Энеида» рассказал историю бегства сына Афродиты Энея, героя Троянской войны; после разорения Трои он бежал в Италию, где наследовал престол царя Латина. *Мы не верим, чтобы бог Сатурн мог любезного родителя превратить в урода жалкого.* Сатурн (Крон), бог вселенной, восстал против своего отца Урана, изувечил его и отнял у него власть. Леда — дочь этолийского царя Фестия, возлюбленная Зевса, явившегося к ней в образе лебедя. Дочь Леды и Зевса Елена,

согласно мифу, родилась из яйца. *Поллукс* — сын Леды и Зевса. *Лезут на вершину Пиндаву*. Пинд — горная цепь в Греции, одна из ее вершин — Парнас. *Протей* (греч. миф.) — бог, обладавший способностью менять свой облик. *Тициан Вечелио ди Кадоре* (1477—1576) и *Корреджо Антонио* (ок. 1489—1534) — итальянские живописцы эпохи Возрождения.

К самому себе. *Зефир* — см. стр. 409. *Сократ* — см. стр. 412. *С Катонем смерть любил*. Катон-младший (95—46 до н. э.) — римский политический деятель, философ-стоик, сторонник аристократической республики, противник Юлия Цезаря, окончивший жизнь самоубийством после поражения республиканской армии.

Послание к женщинам. Обращено к близкому другу Карамзина А. И. Плещеевой, хотя и не адресовано прямо к ней. По возвращении из-за границы осенью 1790 г. Карамзин жил в Москве у Плещеевых до 1795 г. и женился в 1801 г. на сестре А. И. Плещеевой — Е. И. Протасовой. В 1795 г. Карамзин продал братьям симбирское имение за 16 тысяч рублей, чтобы помочь Плещеевым восстановить расстроенные денежные дела. Вторая книжка сборника «Аглая» (1795) вышла с посвящением «Другу моего сердца, единственному, бесценному. Тебе, любезная, посвящаю мою Аглаю, тебе, единственному другу моего сердца!». Плещеевы принадлежали к кругу московских масонов. А. А. Плещеев был близким

другом сентименталиста А. М. Кутузова, одного из руководителей ордена розенкрейцеров в Москве. «Послание» интересно тем, что оно, по-новому определяя значение женщины в дворянском обществе, выдвигало ее и как ценительницу литературы и искусств. Взгляд этот получил признание на рубеже XVIII и XIX вв. под влиянием Карамзина.

Эпиграф к посланию — из «Эпистолы к женщине» английского поэта А. Попа (1688—1744). *Фоб* — см. стр. 409. *Елисейские поля* (Элизиум) (греч. миф.) — место успокоения душ праведников. *Аврора* (рим. миф.) — богиня утренней зари. *Зенон в утробности своей*. *Зенон* (IV—III в. до н. э.) — основатель школы стоицизма в Греции, окончивший жизнь самоубийством. *Вертер* — герой романа «Страдания молодого Вертера» (1774) Гете, покончивший жизнь самоубийством из-за несчастной любви. *Купидон* — см. стр. 413. *Гименей* (греч. миф.) — бог бракосочетания. *Аспазия* (V в. до н. э.) — одна из образованнейших и красивейших женщин древней Греции, гетера; в ее доме собирались ученые и философы. *Эйлер* (1707—1783) — математик и физик, член Петербургской академии наук. *Селадон* — герой пасторального французского романа «Астрея» д'Юрфе (XVII в.), синоним назойливого поклонника.

К бедному поэту. *Фортуна* — см. стр. 410. *Крез* (VI в. до н. э.) — царь Лидии, по преданию обладавший несметными богатствами; синоним богача. *Лукулл* (I в. до н. э.) — знаменитый

римский гастроном. *Сатрап* — деспотический правитель Мидии (провинции средневековой Персии) — синоним жестокого самодура-администратора. *Лаиса* — греческая гетера. *Ганимед* — сын царя Троя, похищенный Зевсом и ставший его виночерпием. *Терпсихора* (греч. миф.) — муза танца. *Платон* — см. стр. 414.

Отставка. *Аполлон* — см. стр. 409. *Крон* (Кронос) (греч. миф.) — отец Зевса, поедавший своих детей, олицетворение времени. *Селадон* — см. стр. 418. *Аркадия* — центральная часть Пелопоннеса (в Греции). Авторы идиллий изображали Аркадию счастливой страной пастухов. *Циклоп* (греч. миф.) — одноглазый великан-людоед.

К неверной. «К неверной» тесно связано со стихотворением «К верной» и имеет автобиографический характер. Видимо, с целью скрыть это, в первом издании («Аониды», 1797) оба произведения были снабжены примечанием «перевод с французского», которое в последующих изданиях Карамзин снял. Вероятно, оба стихотворения относятся к одному лицу, по-видимому П. Ю. Гагариной. *Киприда* (Афродита) (греч. миф.) — имя богини красоты и любви на острове Кипр, по преданию рожденной из пены морской. *Цирцея* (греч. миф.) — богиня луны, чародейка, околдовавшая спутников Одиссея, синоним обольстительницы. *Армида* — один из самых поэтических женских образов в поэме «Освобожденный Иерусалим» итальянского поэта эпохи Возрождения

Торкватто Тассо (1544—1595), здесь — обольстительница.

К в е р н о й. Примечание автора «Темно; можно только догадываться» (т. е. темно переведено) связано с желанием Карамзина выдать стихотворение за перевод. И хотя подзаголовок в «Доннидах» «перевод с французского» в последующих публикациях был снят, вышеприведенное примечание сохранилось.

Т а ц и т. Примерно ко времени написания стихотворения относится начало занятий Карамзина историей. *Тацит* (I—II в.) — латинский историк, в своих сочинениях изобразил нравственное падение современного ему римского общества.

К Шекспирову подражателю. Через десять лет после издания своего юношеского перевода «Юлий Цезарь» (1786) Карамзин продолжал ревниво относиться к Шекспиру. В предисловии к этому переводу Карамзин писал, что пьесы Шекспира, в которых не соблюдены театральные правила, подобны театру природы и «не требуют исправления от нынешних театральных писателей». *Александр* — Александр Македонский.

Пророчество на 1799 год, найденное в бумагах Нострадамуса. Приведено в письме Карамзина к Дмитриеву, где сказано: «Вот что... пришлось на заданные тобою рифмы». *Нострадамус* (1503—1566) — французский астролог. *Василиск* (слав.) — дракон, змей. *Траянов обелиск* — колонна в Риме, поставленная

в честь императора Ульпия Траяна (53—117). *Аониды* — здесь альманах Карамзина, в котором участвовал Дмитриев. *Аониды* (греч. миф.) — прозвище муз в Аонии в Греции. *Эвмениды* (греч. миф.) — богини мести. *Пиндар* (V—IV в. до н. э.) — греческий лирик, поэт высокой, торжественной одической поэзии; его оды исполнялись хорами во время национальных игр.

Меланхолия. Вольное переложение отрывка из третьей песни поэмы «Воображение» («L'Imagination») французского поэта Жака Делиля (1738—1813).

Гимн глупцам. *Сократ* — см. стр. 412. *Нерон* (37—68) — римский император, известный своею жестокостью. *Гераклит Эфесский* (VI в. до н. э.) — один из основоположников диалектики и материализма в древнегреческой философии, взгляды которого использовали скептики. *Демокрит* (IV—III в. до н. э.) — греческий философ-материалист, создатель атомистической теории о строении материи. Карамзин хочет сказать, что глупцы оптимистичны, как Демокрит, которого в древности называли смеющимся философом. *Арлекин* — персонаж итальянской комедии масок. *Астрей* — см. стр. 409.

Тень и предмет. Стихи приведены в письме Карамзина к Дмитриеву от 2 января 1822 г. Название дано Карамзиным при записи двустушия в альбом пианистки Шимановской в 1823 г.

*Стихотворение, приписываемое
Н. М. Карамзину*

Сильфида. Карамзин писал Дмитриеву 18 ноября 1791 г.: «На что тебе Сильфида? Если не ошибаюсь, то мы таким образом певали ее в Петербурге...» Стихотворение приписывается Карамзину. *Сильфида* — по средневековым поверьям дух воздуха. *Птица Цитерина* — голубь. *Оркус* (греч. миф.) — царство мертвых. *Псиша* — Психея — в античной литературе синоним души и бабочки.

И. И. ДМИТРИЕВ

Сатиры

Картина. Козлов Гавриил Игнатьевич (1738—1791) — исторический живописец и портретист XVIII в. *Апелл* — Апеллес (IV в. до н. э.), знаменитый греческий художник. *Амур* — см. стр. 413. *Грации* — см. стр. 412. *Купидон* — см. стр. 413. *Венера* — см. стр. 413.

К текущему столетию. Стихотворение приписывалось Карамзину. В. В. Виноградов в работе «Из наблюдений над языком и стилем И. И. Дмитриева» убедительно доказал принадлежность этого стихотворения И. И. Дмитриеву. *Вольтер Франсуа Мари Аруэ* (1694—1778) — французский писатель-просветитель. *Франклин*

Вениамин (1706—1790) — американский ученый, один из вождей американской буржуазной революции (1776—1783). Кук — видимо, Джеймс Кук (1728—1779) — английский мореплаватель. Румянцов — имеется в виду фельдмаршал П. А. Румянцов (1725—1796). Вашингтон Георг (1732—1799) — первый президент САСШ. Икар (греч. миф.) — сын искусного механика Дедала, смастерившего крылья из перьев и воска. Икар полетел на них, приблизился к солнцу, крылья растаяли, он упал в море и погиб. Здесь имеются в виду братья Монгольфье Жозеф (1740—1810) и Этьен (1745—1799) — первые воздухоплаватели на воздушном шаре. Шмит — лицо не установленное; Дмитриев написал стихотворение «Шмит», не дошедшее до нас; о нем упоминает Карамзин в письме к Дмитриеву от 1 сентября 1791 г.

Модная жена. Белинский в восьмой статье о «Сочинениях Александра Пушкина» писал: «Если из сочинений Пушкина хоть одно может иметь что-нибудь общего с прекрасною и остроумною сказкою Дмитриева (Модная жена. — А. К.), то это, как мы уже и заметили в последней статье, „Граф Нулин“». Цитерская сторона — страна любви. Цитера (Кифера) — самый южный из Ионических островов, на котором был распространен культ Венеры. Blondы — род шелковых кружев. Тамбурна кисея — расшитая в пяльцах кисея. Вулкан (рим. миф.) — бог огня. Верей — столбы, на которые навешивают ворота. Пенаты (рим. миф.) — боги-покровители дома и семьи.

Лукреция — римская матрона VI в. до н. э. Оскорбленная сыном тирана Тарквиния, Лукреция покончила с собой. Ее именем называли безукоризненно верную и добродетельную жену.

Чужой толк. *Феб* — см. стр. 409. *Флакк* Квинт Гораций (I в. до н. э.) — римский поэт эпохи императора Августа. *Рамлер* (1725—1798) — немецкий поэт, прозванный «немецким Горацием», переводчик греческих и латинских авторов. *Реляция* — военное донесение. *Крин* — лилия. *Аристарх* (II в. до н. э.) — греческий грамматик и критик, синоним строгого и справедливого критика. *Пиндар* — см. стр. 421. *Аполлон* — см. стр. 409. *Арлекин* — см. стр. 421. *Гораций* — см. выше. «*Меркурий*» и «*Зритель*» — «Санкт-Петербургский Меркурий» (1793), издававшийся И. А. Крыловым и А. И. Клушиным, и «*Зритель*» (1792), издававшийся Крыловым, Клушиным и П. А. Плавильщиковым, — журналы, занимавшие враждебную позицию по отношению к «Московскому журналу» и его редактору Карамзину. *Демосфен* (IV в. до н. э.) — знаменитый греческий оратор и политический деятель. *Рымникский Алкид* — Суворов Александр Васильевич (1730—1800), названный Рымникским за победу над турками на реке Рымник в 1789 г. Алкид — первоначальное имя Геркулеса (мифического героя древней Греции, наделенного необычайной силой и совершившего двенадцать подвигов), с которым поэт сравнивает Суворова, в 1794 г. успешно воевавшего против Польши.

Ферзен Иван Евстафьевич (1747—1799) — русский генерал, вместе с Суворовым участвовавший в русско-польской кампании. *Чалмоносна Порта* — султанская Турция. *Румянцов* Петр Александрович (1725—1796) — фельдмаршал, учитель Суворова. *Грейг* Самуил Карлович (1736—1808) и *Орлов* Алексей Григорьевич (1737—1808) — командовали флотом во время Чесменской битвы, в которой турецкий флот был сожжен. *С горня света* — с вышнего, с небесного света. *Марсий* (греч. миф.) — сатир (один из спутников бога вина Диониса), вызвавший Аполлона на музыкальное состязание флейты против кифары. Аполлон — победитель — повесил Марсия на сосне и содрал с него кожу.

Путешествие Н. Н. в Париж и Лондон. В стихотворении говорится о путешествии за границу В. Л. Пушкина, поэта-карамзиниста. Оно было издано отдельной книжкой в 1808 г. в Москве в пятидесяти экземплярах для друзей Дмитриева. В заметках 1836 г. А. С. Пушкин о ней писал: «Путешествие есть веселая, незлобная шутка над одним из приятелей автора; покойный В. Л. Пушкин отправлялся в Париж, и его младенческий восторг подал повод к сочинению маленькой поэмы, в которой с удивительной точностью изображен весь Василий Львович. Это образец игривой легкости и шутки живой и незлобной». *Пантеон* — усыпальница великих людей. *Мамелюки* — конные войска из личной охраны Наполеона I, сформированные во время Египет-

ского похода. «*Меркюр*» и «*Монитёр*» — популярные французские газеты. *Сегюр* — видимо, имеется в виду Луи Филипп Сегюр (1753—1830), посол при екатерининском дворе, позже посол в Пруссии, автор известных мемуаров. *Виргилиева грозна буря* — буря, посланная Юноной против Энея (плывшего в Италию), которую описывает в поэме «Энеида» Публий Виргилий Марон (70—19 до н. э.), римский поэт. *Поп Александр* (1688—1744) — английский поэт и теоретик литературы. *Питт Уильям* (младший) (1759—1806) — английский государственный деятель, лидер консервативной партии. *Шеридан Ричард* (1751—1816) — английский писатель и политический деятель либерального направления, автор «Школы злословия». *Бюффон*, *Руссо*, *Мабли* и т. д. — характерный для просвещенного читателя конца XVIII — начала XIX вв. список книг древних и новых авторов. *Аддисон Джозеф* (1672—1719) и *Стиль Ричард* (1672—1729) — английские писатели, создатели нравоучительно-сатирических журналов «Болтун», «Зритель», «Опекун».

Будочник. *Частный* — частный пристав, полицейский чин.

Песни

«Стонет сизый голубочек...». Песня была очень популярна в конце XVIII и начале XIX вв. Ф. М. Дубянский (? — 1796) написал к

ней музыку. В карманной книге для любителей музыки на 1795 г. помещен «Сизый голубок» с музыкой Ф. Дица (1742—1798), скрипача и композитора. В 1892 г. музыку на «Сизого голубка» написал Э. Ф. Направник. На стихи Дмитриева писали музыку А. М. Верстовский, Т. В. Жучковский, А. Г. Рубинштейн. В XIX в. песни Дмитриева включались в десятки лубочных песенников.

«Видал славный я дворец...». В журнале «Пр. и пол. препров. времени», 1794, ч. I, где песня печаталась впервые, было следующее примечание от издателя: «Вот и оригинал той песни, которой многие подражали! Любезный сочинитель хочет остаться неизвестным; но его знают!». *Эрмитаж* — здание, пристроенное к Зимнему дворцу, в котором при Екатерине II собиралось придворное общество и давались спектакли.

«Други! время скоротечно...» *Арак* — вино; готовится на Востоке из риса, изюма и патоки.

Лирические стихотворения и послания

Счет поцелуев. *Церера* (рим. миф.) — богиня земледелия и плодородия. *Флора* — см. стр. 410. *Зефир* — см. стр. 409. *Юпитер* (рим. миф.) — царь богов. *Аврора* — см. стр. 418. *Венера* — см. стр. 413.

Прохожий и Горлица. Перевод французского стихотворения «Le passant et la tourterelle», напечатанного без имени автора в «L'utile et l'agréable almanach amusant», Amst. et Paris, 1774.

К а р и к а т у р а. В «Мелочах из запаса моей памяти» М. А. Дмитриева (1869) сохранился рассказ о происшествии, послужившем канвой для стихотворения. Герой баллады Прохор Николаевич Патрикеев «в молодых годах женился, будучи еще недорослем (так называли дворян, не бывших еще на службе), потом, оставя жену в деревне, отправился в полк. Это было еще до Петра Третьего, когда чины шли туго и отставок не было; почты тоже не было, а потому он, как человек небогатый, вероятно не имел никаких средств получать известия о своем семействе». Вернувшись домой, Патрикеев не нашел жены. «Она была судима в пристанодержательстве и, вероятно, сослана. Некому было дать мужу и известия о ее участи...». М. А. Дмитриев хранил картинку, написанную «пером самим Дмитриевым в его молодости: она изображает Патрикеева, подъезжающего на старом рыжаке к селу Ивашевке. Там не забыт и тощий кот, мяукающий на кровле». *Колёт* — род короткой верхней одежды в некоторых конных полках конца XVIII в. *Торока* — седельные ремни для привязывания (приторачивания) чего-нибудь.

Н а с л а ж д е н и е. *Парки* (рим. миф.) — три богини судьбы, прядущие нить человеческой

жизни; одна парка держит прялку, другая прядет, третья обрезает нить.

Стансы к Н. М. Карамзину. *Катон* — Дмитриев имеет в виду, очевидно, Катона Старшего (III—II в. до н. э.), римского консула, историка и оратора, восхвалявшего аскетический образ жизни. *Сенека Луций Анней* (ок. 6 до н. э. — 65 н. э.) — римский писатель, философ, сторонник стоицизма. *Эпиктет* (I в.) — римский философ, один из представителей позднего стоицизма. *Феб* — см. стр. 409. *Филомела* — см. стр. 406.

К Ф. М. Дубянскому, сочинившему музыку на песню «Голубок». *Орфей* — см. стр. 414.

К А. Г. Севериной на вызов ее написать стихи. А. Г. Северина — жена сослуживца Дмитриева по Семеновскому полку, с которой поэт был близок. Под Анакреоном (VI—V в. до н. э.), древнегреческим лириком, певцом любви, Дмитриев разумеет себя. В первоиздании стихотворение заключалось строфами:

Здесь и самым Аполлоном
Не согрелся бы иной;
Гости заняты бостоном
Иль немецкою войной.

Наши нимфы, зная плавность
И красу лишь гальских муз,

Фи! — лепечут, — что за славность
Une chanson écrite en Russel! ¹

Так признаться между нами:
Сколь ни стоишь ты похвал,
Но, по чести, петь стихами
Что-то дух во мне упал.

Флора — см. стр. 410. *Борей* (греч. миф.) — бог северного ветра.

К п р и я т е л ю. *Цевница* — свирель.

К Ю. А. Нелединскому-Мелецкому. *Нелединский-Мелецкий* Юрий Александрович (1752—1828) — поэт, близкий к дворянскому сентиментализму, автор известных песен («Выйду ль я на реченьку» и др.). *Анакреон* — см. стр. 409.

Послание к Н. М. Карамзину. Против настроений Дмитриева, высказанных в этом послании, Карамзин возражал. 9 августа 1795 г. он писал другу: «Только в минуту злой ипохондрии можешь ты почитать стихи свои пылью. Нет, мой друг, ты имеешь истинные дарования для поэзии, и российская муза называет тебя любезным сыном своим. Пиши, пиши, пиши!». *Фавны* (рим. миф.) — боги гор, лесов и полей; изображались в виде человека с рогами и козлиными ногами. *Нимфы* — см. стр. 412. *Херасков* Михаил Матвеев-

¹ Песня, написанная по-русски (франц.) — *Ред.*

вич (1733—1807) — поэт, драматург и романист, представитель классицизма. *Пеней* — река в Фессалии в древней Греции. *Эол* (греч. миф.) — повелитель ветров.

Послание к Аркадию Ивановичу Толбугину. *Орозман* — герой трагедии Вольтера «Заира» (1730), ревнивый султан, влюбленный в свою невольницу Заиру.

Путешествие. Перевод стихотворения «Le voyage» Флориана (см. стр. 434).

К Маше. Написано Марии Петровне, дочери А. Г. Севериной. *Пермесский ток* — источник вдохновения.

К Г. Р. Державину. Дмитриев познакомился с Державиным в 1790 г. и с этого времени стал его приятелем. Державин показывал Дмитриеву свои стихи в рукописи и принимал его литературные советы. Послание написано в ответ на стихотворение Державина «Лето», напечатанное без имени автора в журнале «Вестник Европы», 1805, № 18. Ответ Дмитриева был опубликован в том же журнале в № 19. *Бард* — см. стр. 406. *Сатиры* — (греч. миф.) — спутники бога вина и веселья Диониса (Вакха), олицетворявшие чувственное начало природы.

В. В. Измайлову. *Измайлов* Владимир Васильевич (1773—1830) — прозаик и переводчик,

автор известного в свое время «Путешествия в полуденную Россию» (1800—1802), написанного под влиянием «Писем русского путешественника» Карамзина; Измайлов издавал журналы «Патриот» (1804), «Вестник Европы» (1814), «Российский музей» (1815), альманах «Литературный музей», в котором было напечатано это стихотворение Дмитриева и ответ на него Измайлова. *Парнас* — гора в Греции, одно из мест обитания Аполлона и муз; «взойти на Парнас» означает стать поэтом. *Глядит на кипарис*. Кипарис в литературе XVIII и XIX вв. символ смерти — дерево кладбища.

На кончину Веневитинова. *Веневитинов* Дмитрий Владимирович (1805—1827) — поэт и публицист, идеолог московского кружка «любомудров» 20-х гг.

В альбом г-жи Иванчиной-Писаревой. Последнее стихотворение Дмитриева. *Иванчин-Писарев* Николай Дмитриевич (1796—1849) — второстепенный поэт и прозаик первой четверти XIX века. Дмитриев сблизился в последние годы жизни с его семьей.

Драматическая поэма

Ермак. *Тимпан* — древний музыкальный ударный инструмент, напоминающий литавры. *Кучум* — татарский хан, завладевший в середине

XVI в. Сибирью. Вначале он платил дань Москве, но потом пошел войной на Пермь. В 1581 г. уральские казаки во главе с Ермаком разбили войско Кучума, и через три года Ермак овладел столицей Сибирского царства — городом Искер. *Аврора* — см. стр. 418.

Сказки

Причудница. В сборнике «И мои безделки» Дмитриев сопровождал сказку шутивным примечанием: «Предваряю читателя, что эта сказка родилась от Вольтеровой сказки «La bégueule». Лучше признаться, пока не уличили». *Фортуна* — см. стр. 410. *Пермесский* — см. стр. 431. *Армидин сад* — волшебный сад, в который Армида, героиня поэмы Т. Тассо «Освобожденный Иерусалим» (1580) увлекает крестоносца рыцаря Ринальдо; здесь, по-видимому, Петергоф. *Диц* — см. стр. 427. *Амфион* — (греч. миф.) — сын Зевса, звуки его кифары заставляли двигаться даже камни.

Искатели Фортуны. Написано на басне Лафонтена «L'homme qui court après la Fortune». Лафонтен Жан (1621—1695) — французский писатель, особенно знаменитый своими баснями, переведенными на все европейские языки. В предисловии ко второй книге «Сказок» (1667) Лафонтен выступил с защитой права поэта свободно обращаться с источниками, принимать чужие произведения за основу для собственного

творческого замысла. *Фортуна* ведь без глаз. *Фортуна* (рим. миф.) — богиню слепого случая, счастья — скульпторы древности изображали с повязкой на глазах. *Сурат* — город в Индии, в Бомбейской провинции.

К а л и ф. По сказке Флориана «*Le Calife*». Флориан Жан Пьер (1755—1794) — французский писатель, следовавший в своих баснях традиции Лафонтена. Легкость, изящество и салонность были свойственны его прозе, пасторалям и басням.

Б а с н и и а п о л о г и

Б а с н и

Пустынный и Фортуна. По басне Грекура «*Le solitaire et la Fortune*». Грекур Жан Батист (1683—1743) — французский поэт, подражатель Лафонтена, автор цинических сказок. Дж. Ло, политический деятель, предложил Грекуру поступить к нему на службу. Грекур ответил ему басней «Пустынный и Фортуна». *Плутарх* (ок. 46—126) — древнегреческий философ и историк, автор знаменитых жизнеописаний великих деятелей древности.

Дуб и Трость. По басне Лафонтена «*Le Chêne et le Roseau*». До Дмитриева на этот

сюжет писали Сумароков, Княжнин и Николев, после него — Крылов. Издатель журнала «Московский зритель» Шаликов в 1806 г. напечатал две басни Крылова «Дуб и Трость» и «Разборчивая невеста» со следующим примечанием: «Я получил сии прекрасные басни от И. И. Д<митриева>. Он отдает им справедливую похвалу и желает, при сообщении их, доставить и другим то удовольствие, которое они принесли ему». Жуковский сравнил переводы басен «Дуб и Трость» и «Два голубя» Крылова и Дмитриева в статье «О басне и баснях Крылова» (1809). *Фобовы лучи* — лучи солнца. *Зефир* (греч. миф) и *Аквилон* (рим. миф.) — легкий, западный ветер и северный, холодный ветер. *Эол* — см. стр. 431.

Два друга. По басне Лафонтена «Les deux Amis».

Старик и трое молодых. По басне Лафонтена «Le Vieillard et les trois jeunes Hommes». *Парки* — см. стр. 428.

Кокетка и Пчела По басне Флориана «La Coquette et l'Abeille». *Флора* — см. стр. 410.

Воспитание Льва. Перевод басни Флориана «L'éducation du Lion». *Ментор* — воспитатель Телемака, сына Одиссея, — синоним придирчивого наставника (употребляется иронически).

*

Петух, Кот и Мышонок. По басне Лафонтена «Le Cochet, le Chat et le Souriceau».

Царь и два пастуха. По басне Флориана «Le Roi et les deux Bergers».

Каретные лошади. По басне «Les Chevaux de carosse» французского поэта Бартеlemi Имбера (1747—1790).

Змея и Пиявица. По басне Флориана «La Vipère et la Sangsue».

Придворный и Протей. По басне Флориана «Le Courtisan et le dieu Protée». Протей — см. стр. 417.

Лиса-проповедница. По басне Флориана «Le Renard qui prêche».

Кот, Ласточка и Кролик. По басне Лафонтена «Le Chat, la Belette et le petit Lapin». Ласточка — здесь: «ласочка» (la belette — зверек ласка). Дромадер — одногорбый верблюд.

Лев и Комар. По басне Лафонтена «Le Lion et le Moucheron». Юдоль — см. стр. 406.

Дон-Кихот. По басне Флориана «Don Quichotte». Аркадия — см. стр. 419. Эклога —

стихотворение идиллического характера на пастушескую тему. *Селадон* — см. стр. 418.

История. По басне Буазара «L'histoire». Буазар Ж. Ф. (1743—1831) — французский баснописец. Современники сравнивали его с Флорианом.

А П О Л О Г И

В предисловии к своей книжке «Апологи в четверостишиях», вышедшей в Москве в 1826 г., Дмитриев писал: «Предлагаемые здесь апологи почти все выбраны из четверостишных басен Мольво, известного французского поэта. Я не забочусь о том, признают ли их баснями или апологами. Соглашаюсь даже и сам назвать их просто *нравоучительными четверостишиями*. Желаю только, чтоб они достигли цели своей и сохранили достоинство поэзии».

Мольво Шарль Луи (1776—1844) — французский поэт, издавший несколько стихотворных книг. Сборник, из которого переводил Дмитриев, вышел в Париже в 1820 г. под названием «Sept fables en quatre vers chacune».

Полевой цветок. Перевод стихотворения Лорана Пьера Беранже «La Renoncule et l'Oeillet».

Надписи. Эпитафии. Эпиграммы

Надписи

Старинная шутка к портрету Н. М. Карамзина. *Шолье* Гильом (1639—1720) — французский поэт, представитель легкой поэзии. *Юм* Давид (1711—1776) — английский философ-агностик, отрицавший познаваемость мира. *Плагон* — см. стр. 414. *Когда у Киселева*. В доме Д. И. Киселева, отца министра графа П. Д. Киселева, «много играли в карты, до которых Карамзин был тогда большой охотник» («Русск. архив», 1867).

«Вот милый всем творец...». Стихотворение относится к Н. М. Карамзину.

«Янтарная заря, румяный небавцвет...». К портрету П. И. Шаликова (1768—1852), поэта, прозаика и журналиста, эпигона Карамзина; в 20-х гг. Шаликов стал мишенью многочисленных сатирических выпадов.

«Смейтесь, смейтесь, что я щурю...» Дмитриев имел здесь в виду самого себя.

Эпитафии

Эпитафия эпитафиям. М. А. Дмитриев в воспоминаниях «Мелочи из запаса моей памяти» (1869) писал о возникновении этой эпи-

тафии следующее: «По смерти Богдановича Карамзин, написавший столь прекрасный разбор «Душеньки», предложил в «Вестнике Европы» (1803, ч. 7, февр. № 2, стр. 226) русским авторам, вроде конкурса, написать эпитафию Богдановичу. Эпитафии посылались в «Вестник Европы». Были хорошие, были и посредственные, были и очень фигурные. Почти во всех упоминались Амур и Душенька. Чтобы положить конец этому конкурсу, Ив. Ив. Дмитриев напечатал в «Вестнике» эпиграмму под названием «Эпитафия эпитафиям...».

Эпиграммы

«Я разорился от воров!..». Перевод стихотворения Лебрена «Dialogue entre un raucge poète et l'auteur». Лебрен Экушар (1729—1807) — автор многочисленных од и эпиграмм, прозванный французским Пиндаром.

«Седящий на мешках славяно-русских слов...». Стихотворение написано в 1803 г., когда вышла книга А. С. Шишкова «Рассуждение о старом и новом слоге российского языка» и разгорелась журнальная война между сторонниками Карамзина и Шишкова. Львов Павел Юрьевич (1770—1825) — автор сентиментальной прозы, печатавшейся в «Московском журнале», впоследствии примкнул к кругу Шишкова и в 1803 г. издал книгу «Храм славы Российских ироев», которая и явилась непосред-

ственным поводом к написанию эпиграммы. *Сотиньус* — прозвище Шишкова.

О т в е т. Стихотворение написано в 1806 г. в ответ на статью М. Т. Каченовского о третьей части сочинений Дмитриева, вышедшей в 1805 г. В 1806 г. Дмитриев неоднократно жаловался в письмах А. И. Тургеневу и В. А. Жуковскому на критику Каченовского. Последнюю строку этой эпиграммы повторил Пушкин в своей эпиграмме на Каченовского (1818). *Аристарх* — строгий критик, здесь Каченовский. *Дефонтен* (1685—1745) — ожесточенный противник Вольтера.

ОСНОВНЫЕ ИЗДАНИЯ СТИХОТВОРЕНИЙ

Н. М. КАРАМЗИН

«Сочинения Карамзина», тт. I—IX. М., 1820.

«Полное собрание стихотворений Н. М. Карамзина». «Русская поэзия» под ред. С. А. Венгерова, вып. VII, СПб., 1901.

«Сочинения Карамзина», т. I. Стихотворения. Изд. Отдел. русского языка и словесности Акад. наук. Пг., 1917.

«Н. Карамзин. И. Дмитриев». Избранные стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания А. Я. Кучерова. «Библиотека поэта», большая серия. Л., 1953.

И. И. ДМИТРИЕВ

«Стихотворения Ивана Ивановича Дмитриева», чч. I—II. Изд. 6-е. СПб., 1823.

«Сочинения Ивана Ивановича Дмитриева». Ред. и примеч. А. А. Флоридова, тт. I—II. СПб., 1893.

«Н. Карамзин. И. Дмитриев». Избранные стихотворения. Вступительная статья, подготовка текста и примечания А. Я. Кучерова. «Библиотека поэта», большая серия. Л., 1953.

СОДЕРЖАНИЕ¹

Н. М. Карамзин и И. И. Дмитриев.
Вступительная статья А. Я. Кучерова 5

Н. М. БАРАМЗИН

«Часто здесь в юдоли мрачной...» . . .	75	406
Поэзия	77	406
К Дмитриеву	85	409
Весенняя песнь меланхолика	87	409
Анакреонтические стихи А. А. Петрову	89	410
«Я в бедности на свет родился...» . . .	92	410
Выздоровление	93	410
Осень	95	
Граф Гваринос	97	411
«Жил-был в свете добрый царь...» . .	103	411
«К великолепию цари осуждены...» . .	105	411
К Прекрасной	106	
Веселый час	108	
Раиса	110	

¹ Первая цифра обозначает страницу стихотворения, вторая (курсивом) — страницу примечания.

Кладбище	114 412
К Милости	116 412
Приношение грациям	119 412
К соловью	121 412
Странность любви, или Бессонница	123 413
«Законы осуждают...»	126 413
Песнь Сафина	128 413
Смерть Орфеева	131 414
Послание к Дмитриеву в ответ на его стихи, в которых он жалуется на ско- ротечность счастливой молодости	132 414
Послание к Александру Алексеевичу Плещееву	138 415
К ней	145
Илья Муромец. <i>Богатырская сказка</i>	146 416
К самому себе	163 417
К Мелодору в ответ на его песнь любви	166
Послание к женщинам	167 417
Выбор жениха	182
Непостоянство	184
К бедному поэту	185 418
Отставка	190 419
К неверной	193 419
К верной	198 420
Исправление	202
Тацит	204 420
К Шекспирову подражателю	205 420
Страсти и бесстрастие	206
Два сравнения	
«Что наша жизнь? Роман. — Кто автор? Аноним...»	207
«Что есть жизнь наша? — Сказка...»	207

Пророчество на 1799 год, найденное в бумагах Нострадамуса	208 420
Меланхолия. <i>Подражание Делилю</i>	209 421
Берег	211
Гимн глупцам	212 421
Стихи к портрету И. И. Дмитриева	
«Министр, поэт и друг: я всё тремя словами...»	216
«Он с честью был министр, со славою поэт...»	216
Тень и предмет	217 421

*Стихотворение, приписываемое
Н. М. Карамзину*

Сильфида	218 422
--------------------	---------

И. И. ДМИТРИЕВ

Сатиры

Картина	221 422
К текущему столетию	225 422
Модная жена	227 423
Чужой толк	233 424
«Обманывать и льстить...»	239
Путешествие N.N. в Париж и Лондон, писанное за три дни до путешествия	241 425
Будочник	246 426

Песни

«Стонет сизый голубочек...»	248	426
«Ах! когда б я прежде знала...»	250	
«Тише, ласточка болтлива...»	252	
«Без друга и без милой...»	253	
«Видел славный я дворец...»	255	427
«Пой, скачи, кружись, Параша!..»	257	
«Всех цветочков боле...»	259	
«Други! время скоротечно...»	260	427
«Куда мне, сердце страстно...»	262	
«Что с тобою, ангел, стало?..»	264	
«Всё ли, милая пастушка...»	265	

Лирические стихотворения и послания

Счет поцелуев	266	427
Я	268	
Прохожий и Горлица	269	428
Карикатура	270	428
К Хлое	275	
Наслаждение	277	428
Стансы к Н. М. Карамзину	279	429
К Ф. М. Дубянскому, сочинившему му- зыку на песню «Голубок»	282	429
К А. Г. Севериной на вызов ее написать стихи	284	429
К приятелю (с дачи)	286	430
К Ю. А. Нелединскому-Мелецкому	288	430

Мадригалы

«По чести, от тебя не можно глаз отвесь...»	289
«Задумчива ли ты, смеешься иль поешь...»	289
Послание к Н. М. Карамзину	290 430
А. Г. Севериной в день ее рождения	293
Послание к Аркадию Ивановичу Тол- бугину	294 431
К друзьям моим по случаю первого сви- дания с ними после моей отставки из обер-прокуроров пр. Сената	296
Супружняя молитва	299
Путешествие	300 431
К Маше	301 431
Стансы	303
К Г. Р. Державину	304 431
Люблю и любил	306
В. В. Измайлову	307 431
На кончину Веневитинова	308 432
В альбом г-жи Иванчиной-Писаревой	309 432

Драматическая поэма

Ермак	310 432
-----------------	---------

Сказки

Причудница	317 433
Искатели Фортуны	330 433
Калиф	334 434

Басни и аполлоги

Басни

Пчела, Шмель и я	336	
Пустынник и Фортуна	337	434
Чижик и Зяблица	339	
Дуб и Трость	341	434
Два друга	343	435
Старик и трое молодых	345	435
Кокетка и Пчела	347	435
Воспитание Льва	349	435
Петух, Кот и Мышонок	353	436
Царь и два пастуха	355	436
Каретные лошади	358	436
Змея и Пиявица	359	436
Дряхлая старость	360	
Придворный и Протей	361	436
Лиса-проповедница	363	436
Часовая стрелка	366	
Кот, Ласточка и Кролик	367	436
Лев и Комар	370	436
Муха	372	
Суп из костей	373	
Дон-Кишот	374	436
История	377	437

Аполлоги

Полевой цветок	379	437
Роза и Шмель	380	
Репейник и Фиалка	381	

Лев и Волк	382
Мыльный пузырек	383
Мячик	384
Каменная гора и Водяная капля	385
Беспечность поэта	386
Челнок без весла	387
Эпилог. Автор и критика	388

Надписи. Эпитафии. Эпиграммы

Надписи

«И это человек?..»	389
К портрету Г. Р. Державина	390
Старинная шутка к портрету Н. М. Карамзина	391 438
«Вот милый всем творец! иль сердцем, иль умом...»	392 438
«Янтарная заря, румяный неба цвет...»	393 438
«Смейтесь, смейтесь, что я щурю...»	394 438
«Чей это, боже мой, портрет?..»	395

Эпитафии

Эпитафия эпитафиям	396 438
«Прохожий, стой! во фронт! скинь шляпу и читай...»	397

Эпиграммы

«Я разорился от воров!..»	398 439
«Седящий на мешках славяно-русских слов...»	399 439
Ответ	400 440
На дурные оды по случаю рождения именитой особы	401
Примечания	403
Основные издания стихотворений Н. М. Карамзина и И. И. Дмитриева	441

Редакционная коллегия

*В. Н. Орлов (главный редактор), М. О. Аузоб,
А. Г. Дементьев, В. П. Друзин, В. О. Перцов,
А. А. Прокофьев, М. Ф. Рыльский, В. М. Саянов,
А. А. Сурков, А. Т. Твардовский, Н. С. Тихонов,
И. Г. Ямпольский (зам. главного редактора)*

Карамзин Николай Михайлович
Дмитриев Иван Иванович

СТИХОТВОРЕНИЯ

Редактор *К. К. Бухмейер*

Художник *Л. С. Хижинский*
Худож. редактор *М. Е. Новиков*
Техн. редактор *С. И. Брусиловская*
Корректор *А. М. Аваков*

Сдано в набор 12/IV 1958 г. Подписано
к печати 4/VI 1958 г. Бумага 84×108/84
Печ. л. 14¹/₄ (11,68). Уч.-изд. л. 13,7.
Тираж 50 000 (1 завод 1—25 000).
Заказ № 293. Цена 5 р. 20 к.

Ленинградское отделение
издательства «Советский писатель»
Ленинград, Невский пр., 28.

Типография № 5 УПП Ленсовнархоза
Ленинград, Красная ул., 1/3

ЗАМЕЧЕННЫЕ ОПЕЧАТКИ

<i>Стр.</i>	<i>Строка</i>	<i>Напечатано</i>	<i>Следует читать</i>
24	1—2 св.	«Кружком Дружеского общества»	кружком «Дружеского общества»
65	11 св.	размышления	размышлений
148	1 св.	стих-рифмодетели	стихо-рифмодетели
312	7 св.	и в прахе, бывши	и в прахе бывши
378	2 св.	Чему же верить	«Чему же верить

Н. М. Карамзин

И. И. Дмитриев

